
97
ОГОНЁК
№ 33 АВГУСТ 1970
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА


Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
ОГОНЁК
Основан 1 апреля 1923 года
№ 33 (2250)
15 АВГУСТА 1970

18 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

# БУДУ ЛЕТЧИКОМ!

**Г. МАКАРОВ,**
**специальный корреспондент «Огонька»**

Фото автора.

Сегодня обычный полет по кругу. Взлет, набор высоты, четыре разворота, посадка.

Плавно опустился прозрачный фонарь и отсек все звуки внешнего мира. Взгляд привычно останавливается на показаниях приборов: обороты, температура, давление — норма. В наушниках прозвучало: «Полсотни пятый, взлетайте!»

Правая рука прижимает рычаг тормоза, левая подвигает вперед до отказа РУД (раньше в авиации это называлось сектором газа).

Быстро растут обороты. Теперь руку с тормоза долой. Промчались назад стартовый командный пункт, аэродромные строения, и горизонт перед глазами пошел вниз — самолет задрал нос. А вот и толчки кончились: колеса оторвались от бетонки. Рукоятку управления шасси — вверх. Зеленые огоньки сменились красными — «ноги» убрались. Доклад руководителю полетов: «Скорость и высота нормальные». Разворот влево выводит машину на первый длинный отрезок маршрута, и тут же из правого угла приборной доски — тревожные красные вспышки табло: «Пожар! Пожар! Пожар!..»

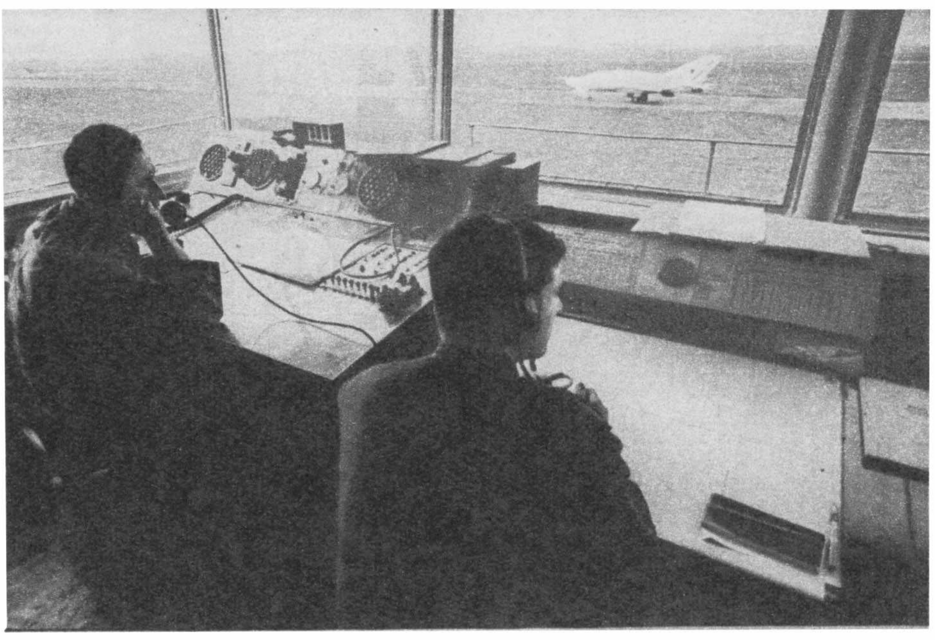
Главное теперь — мастерство пилота, соразмеренное с секундами и даже долями секунды. Первое — доложить руководителю полетов о происходящем и о своих действиях. Тяга и высота падают, но... в нашей власти благополучно завершить полет.

...Мы — в одном из тренажеров Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола. Упражнение называется отработкой действий летчика в особых случаях полета.

В училище горячее время. И днем и ночью шлют в эфир свои импульсы антенны систем посадки и локаторы. Встречают, сопровождают новичков и почти готовых воздушных бойцов.

В один из таких жарких — в прямом и переносном смысле — дней четкую аэродромную графику сверкающих самолетов и темно-синих комбинезонов расцветили рубашки всех оттенков и фасонов. Сюда пришли те, кто однажды твердо сказал себе: «Буду летчиком!» Среди «гражданских» рубашек мелькают формы моряков, гимнастерки десантников, солдат сухопутных войск, воинов срочной службы, также решивших посвятить свою жизнь авиации.

Летняя пора — лётная пора, пора напряженнейшего труда курсантов и инструкторов. Но думается, что сейчас самые большие «перегрузки» испытывают эти парни, еще не познавшие неба. Прежде всего тревога: а вдруг не пройду? Желающих поступить в училище очень много. Склонившись над книжками, конспектами, сидят они до самого отбоя в укромных уголках и учат, и выводят формулы, и задают друг другу самые каверзные вопросы. А другие прилипли к окнам УЛО — учебно-летного отдела,— разглядывая разрезанные самолеты, двигатели. А потом проходят медкомиссию и сидят уже по одному в вертящемся кресле, читают самые мелкие буковки, различают тончайшие оттенки цветов, орудуют ручками, педалями, такими же, как в самолете, и через

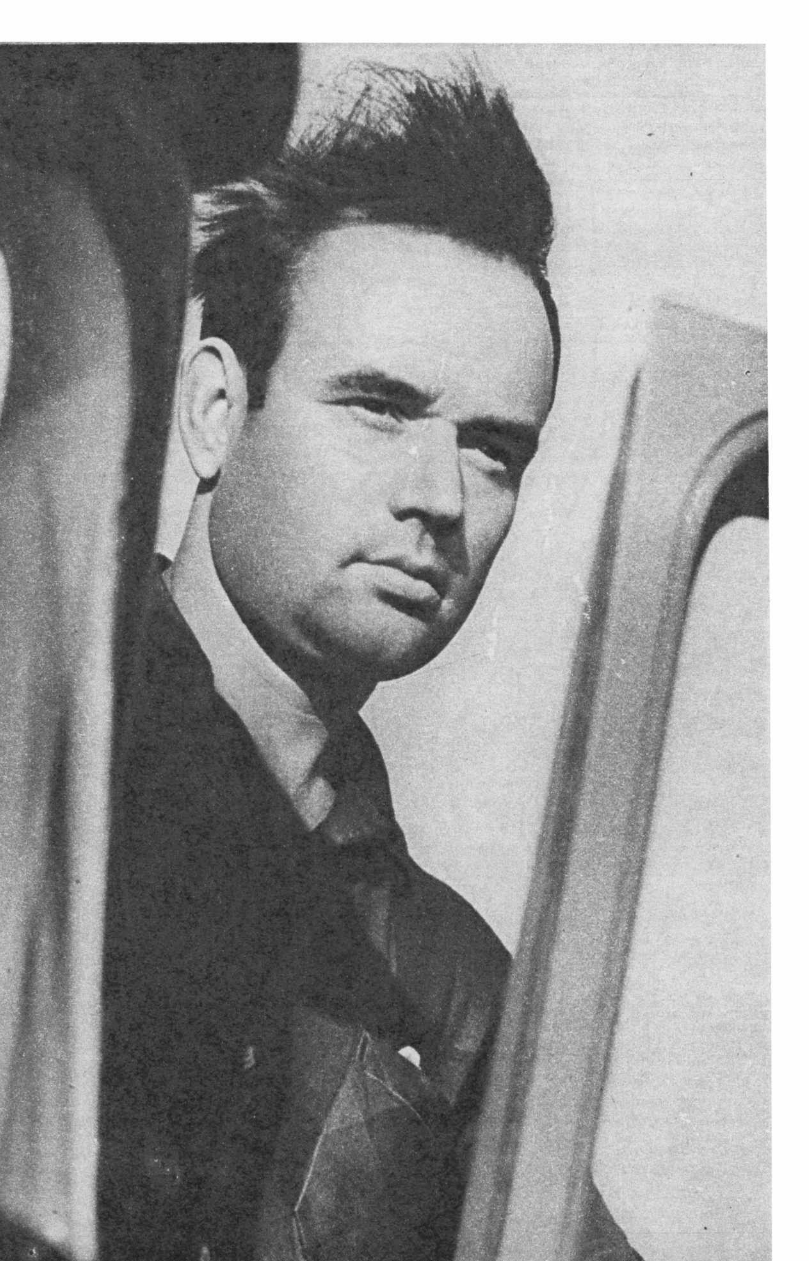


Цветок парашюта.

Полетами руководит Николай Емельянович Картавый.

*Продолжение см. на стр. 8*

# ЕЩЕ ОДНА ЗВЕЗД

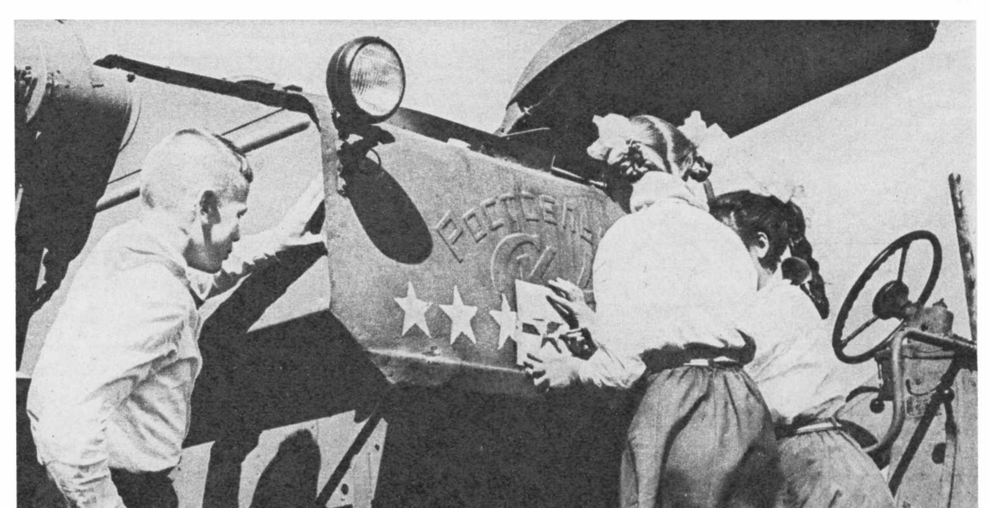


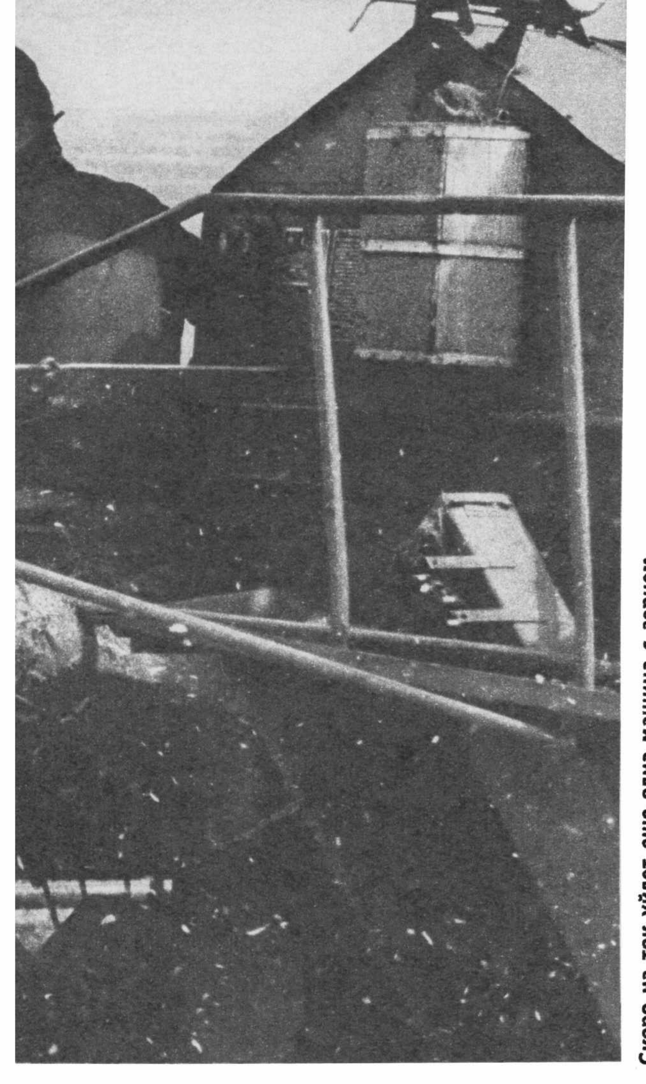


Супруги Булаевы — хозяева семейного комбайна

«Машине полную нагрузку!» — таков девиз коммуниста шофера Алексея Чунова.

Эти звездочки — символы трудовых побед.





Скоро на ток уйдет еще одна машина с зерном.

# ОЧКА...

## ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ ВАХТА НА ПОЛЯХ

Жаркий июль быстро передвинул фронт жатвы с юга страны на север и восток. И где бы ни проходила сегодня линия этого фронта — а уборку хлебов ведут уже все союзные республики,— земледельцы отмечают: «До чего же хлебороден он, нынешний год!»

Вот и здесь, на землях Пензенской области, где побывал наш фотокорреспондент Д. УХТОМСКИЙ, колхозники, рабочие совхозов не нарадуются. В некоторых районах на больших участках урожаи пшеницы сорта «мироновская-808» достигают 35—40 центнеров с гектара.

Этот фоторепортаж — из Каменского района. Успех битвы за хлеб решают и шоферы и комбайнеры. Их девиз: «Машинам полную нагрузку!» В совхозе «Кевдинский» среди героев жатвы и коммунист шофер Алексей Алексеевич Чунов и комбайнеры супруги Булаевы: Надежда Михайловна и Иван Васильевич. В тяжкую военную пору, в году сорок третьем, стала механизатором Надежда Михайловна. Вернулся с войны Иван Васильевич, и теперь уже оба они трудятся в поле. А ныне у них комбайн семейный: он комбайнер, она штурвальная. Пришли на поле пионеры совхозной школы с весьма важным заданием: на семейный комбайн Булаевых должна быть нанесена еще одна звездочка, еще одно свидетельство больших трудовых побед.

КОЛОНКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЦИСТА




# ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРАБЛЬ ОТСЧИТЫВАЕТ МИЛИ

Павел НАУМОВ

Мне вспоминается январь 1954 года, клубы белого пара над входами в берлинскую подземку, густой иней на липах Унтер-ден-Линден и продрогшие фигурки легко одетых, спешащих в укрытие людей. От необычно сурового для этих мест мороза страдали не только и не столько берлинцы, сколько гости, приехавшие сюда со всех концов света. Одетые подчас еще легче, чем жители города, дипломаты, чиновники и журналисты кочевали по лихому морозу из конца в конец города — то на восток, то на запад,— гонимые служебным рвением или журналистским энтузиазмом. И было от чего волноваться. В Берлине собрались министры иностранных дел стран антигитлеровской коалиции — СССР, США, Англии и Франции,— собрались спустя пять лет после того, как они последний раз встречались и обсуждали проблемы послевоенного устройства мира.

Берлинское совещание, повестка дня которого была предложена Советским Союзом и принята западными державами, обсуждало многие важные проблемы. Но как по-разному сложилась их судьба! Оно дало толчок к восстановлению мира в Индокитае, но одиннадцать лет спустя американские империалисты задушили этот процесс своим военным вторжением в Южный Вьетнам. Оно положило начало обсуждению вопроса о разоружении, но из-за происков милитаристских кругов результат этих усилий пока что чрезвычайно скромный. Оно по предложению советской делегации занималось проблемой воссоединения Германии на основе проведения общегерманских выборов и заключения германского мирного договора, но в результате последовавшего вскоре включения Западной Германии в Североатлантический блок и ее ремилитаризации возрождение единой Германии было сорвано.

Обо всем этом я напоминаю лишь для того, чтобы на историческом фоне особо выпукло была видна судьба одной проблемы, занимающей большое место в современной международной жизни. Речь идет о проблеме обеспечения европейской безопасности. Впервые она была поставлена Советским Союзом именно на Берлинском совещании. Это был план обеспечения безопасности в Европе путем заключения общеевропейского договора о коллективной безопасности. Советским проектом предусматривалось участие в договоре и Германии в лице двух существующих германских государств, а после воссоединения — объединенной Германии.

Западные державы, занятые сколачиванием агрессивного Атлантического блока, прошли тогда мимо советского плана обеспечения безопасности в Европе. Но вот прошло более полутора десятков лет, и что мы видим? Идея обеспечения европейской безопасности не погребена в дипломатических архивах. Напротив, она стала одним из главных элементов европейской и мировой политики.

Проблема европейской безопасности прошла за эти годы между многих сцилл и харибд «холодной войны»: через антисоветскую истерию в связи с венгерским контрреволюционным мятежом, через дымовую завесу антикоммунистического угара, которым прикрывался путь ремилитаризации Западной Германии, через полосы военной напряженности, связанной с агрессивными действиями империалистических держав на Ближнем Востоке и в Индокитае. Наконец, ей пришлось преодолеть препятствие, на которое империализм возлагал особые надежды,— попытку «мирной контрреволюции» в Чехословакии.

Из затяжной схватки с силами войны и реакции идея коллективных усилий по обеспечению европейской безопасности вышла не ослабленной, а, напротив, наполненной новой притягательной силой, конкретным содержанием. Отпал вопрос, есть ли смысл садиться за «круглый стол» представителям столь различных по социальному строю и политическим целям государств. Теперь в Европе господствует мнение: есть смысл, и эта встреча должна состояться в форме общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества. Не существует больше вопроса, имеет ли Германская Демократическая Республика право на равноправное участие в общеевропейском форуме. Общее мнение: имеет право и должна участвовать. Нет больше вопроса, чем конкретно должны заниматься участники встречи: повестка дня, предложенная социалистическими странами с учетом мнений, высказанных на Западе, содержит очень конкретные вопросы. Сюда относятся: обеспечение европейской безопасности и отказ от применения силы или угрозы ее применения во взаимных отношениях между государствами в Европе; расширение торговых, экономических, научно-технических и культурных связей на равноправных началах, направленных на развитие политического сотрудничества между европейскими государствами; создание на общеевропейском совещании органа по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

Было бы неоправданным оптимизмом считать, что все препятствия на пути к общеевропейскому совещанию устранены. И в Европе и особенно за океаном есть еще силы, которые с не меньшей, чем прежде, энергией изобретают мины и торпеды против него. И все же сейчас смело можно говорить: корабль подготовки общеевропейского совещания уверенно движется вперед, и остановить его уже невозможно. То и дело поступают вести о новых пройденных им милях. К Финляндии, живее всех капиталистических государств откликнувшейся на инициативу социалистических стран, теперь присоединилась Австрия. Правительство этой страны на днях предложило заинтересованным государствам использовать Вену в качестве места проведения подготовительных встреч к совещанию.

Мы, марксисты, знаем, что история движется по объективно существующим законам. Но мы знаем и другое: проявление действия этих законов иногда заставляет себя долго ждать. Мир сложен, и в борении могучих общественных сил иногда не сразу появляются стимуляторы, превращающие историческую необходимость в действие, в реальность.

Что же было стимулятором в продвижении через все препятствия идеи коллективного обеспечения европейской безопасности? Политическое благоразумие? Счастливое стечение обстоятельств? Страх перед атомной бомбой, как утверждает буржуазная пропаганда?

Вопрос этот не прост, и ответ не может быть однозначным. Но если попытаться выявить главную силу, на которую опиралась идея обеспечения европейской безопасности, то, на мой взгляд, ответ может быть только один. Здесь мы имеем дело с конкретным проявлением возросшей роли и влияния народных масс Европы в формировании политики, в общественно-политической жизни. Именно европейские народы с их опытом войны и преодоления ее тягчайших последствий не дали умереть идее коллективных усилий европейцев в деле поддержания мира на континенте. Именно они оказались наиболее восприимчивыми к принципу мирного сосуществования государств различных общественных систем и сумели защитить выдвинутые социалистическими странами предложения от всех наскоков и атак.

Снова подтверждена марксистская истина, что народ — творец истории. И в ней залог того, что общими усилиями удастся создать систему сотрудничества, которая оградит наш континент от новой опустошительной войны.

Виктор УРИН

# Политика



## I. БАРРИКАДЫ ГНЕВА

### Июнь

Жаркие социальные схватки проходят в Северной Ирландии. Английское правительство направило свои войска в Ольстер и, стравливая между собой протестантов и католиков, фактически осуществляет в Северной Ирландии жандармские функции колониальной державы.

Не угасают схватки острые:
надежды выжжены дотла.
И с выстрелами спорят в Ольстере
печальные колокола.

О тюрьмы, вечное бесправие,
вы — как колючие шипы,
но те, чью душу вы кровавили,
нет, не смиренные рабы!

Клокочут города ирландские,
вот пал бегущий впереди,
и сорванной гвоздикой в лацкане
кровь проступила на груди.

С винчестером студент сутулится,
вступая в новый свой семестр:
ему «преподает» на улице
слезоточивый газ «Си-Эс».

Дымились баррикады смятые,
летели камни, как протест...
Две очереди автоматные
пересекаются, как крест.

И от погромной провокации,
как от бикфордова шнура,
взорвался порох демонстрации,
пошла зловещая «игра»:

пожары, словно черви-козыри,
в азарте мечет произвол;
июнь, ворвавшийся с угрозами,
аресты снова произвел.

На лицах — огненные отблески...
И полицейские чины,
колодами тасуя обыски,
в судебный вист вовлечены.

«Игра», однако, плохо лепится,
и как там ни спасай престиж,
но если дряхлый строй —
нелепица,—
его ничем не оживишь.

И вот все злей, все беспощаднее,
в кровавых стычках захмелев,
на плечи Северной Ирландии
бросается британский лев.

Как старомодно это рвение!
Но и когтями этих войск
все тяжелей лепить смирение —
народ давно уже не воск.

Пускай с усердием натасканным
зубами гусеничных лент
жуют броневики британские
кровавый этот уик-энд [1],

пусть смяты баррикады Белфаста,
и вроде бы погас костер,
но искрами из уст летел в уста
призыв горячий — дать отпор.

И бешеную свору выстрелов,
карательный оскал штыков,—
нет, не простит, все это выстрадав,
народ, уставший от оков.

О гнев, и кровь, и слезы Ольстера!
Как памятник сынам твоим,
венок бунтующего острова
и ленты черные, как дым.

И, засверкав стальными рыльцами,
подняв охранные щиты,
в пластмассовых забралах
«рыцари» —
позор в кварталах бедноты...

## 2. КОВЕНТРИ — ВОЛГОГРАД

### Июль

В городе Ленина, на берегах Невы собрались посланцы городов, коммун и общин из 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Июль прислушивается к голосу VII Всемирного конгресса породненных городов. Эмблема этого движения — ключ на фоне земного шара — символ доверия и дружбы...

Грозный год предвоенный.
Неслыханно черное дело:
мирный город английский
фашисты бомбят без конца,
и взрывная волна,
показалось, до нас долетела
и качнула рывком
возмущенные наши сердца.

И запомнилось: «Ковентри!»
В ночь мы по радио слышим,
как ревет бомбовозами
этот кровавый пролог.
Через год и у нас
застучали осколки по крышам,
и посты занимали
солдаты воздушных тревог.

Тяжело вспоминать...
Сколько было их в каждом отряде,
погибавших защитников —
братьев, сестер и отцов!
И узнал я, что в Ковентри,
как и у нас в Волгограде,
есть святые могилы
на площади Павших Борцов.
И пускай эта площадь
у вас назовется иначе,
только память — одна,
только женские слезы — одни.
Раскаленные камни
единым дыханьем горячим
обжигали сердца
в те жестокие, страшные дни.

Здравствуй, Ковентри, здравствуй!
Сегодня в гражданском молчанье
я к тебе подхожу,
отдаю солидарный салют.

Пусть же все города,
как товарищи-однополчане,
свои добрые чувства
в единую песню сольют.

Очень хочется верить,
что, как ни туманно и сыро,
города-побратимы
осилят любую беду.
Как у нас, в Волгограде,
есть в Ковентри улица Мира,
по которой сегодня
я к площади Дружбы иду.

## 3. ЗОВ СОЛИДАРНОСТИ

### Август

Десятки тысяч английских докеров провели мужественную борьбу за свои социальные права, против наступления предпринимателей. Их борьба, завершившаяся победой, пользовалась поддержкой и симпатиями советских трудящихся, рабочего класса стран Европы и других континентов.

Окрашенный густеющею охрою,
по горизонту выгнулся рассвет,
и он похож был на повязку докера
с непримиримой надписью:
«Пикет».
Стоят суда. Их сотнями оставили.
— Не разгружать!
— Довольно!
— Наотрез!
И забастовка, как корабль
со стапелей,
пустилась в свой сражающийся
рейс,
плывет и дышит
бурей нарастающей,
срезает волны переменный
бриз.
— Мы с вами, братья!
— Так держать, товарищи!
— Рабочий класс Британии,
борись!

Что может капитал?
— ...найти прорехи бы...
— ...войска направить в порт...
— ...измором взять...
Но коль войдут солдаты,
как штрейкбрехеры,
то как тогда правительство
назвать?
— Прибегнуть к чрезвычайным
полномочиям!
— Пикетчиков унизить!
— Взять реванш!

В ответ своею глоткою рабочею
разгневанно кричит пролив
Ламанш:
— Какие бы законы
ни протаскивал
в ушко иголки дряхлый капитал
и как бы забастовку пролетарскую
суровой ниткой он ни расшивал;
какие б ни закатывал истерики:
«Вы эгоисты! Это кризис! Крах!» —
и как бы жадно ни копил он
стерлинги
в бездушных, костенеющих
руках,—
ему не сладить с выдержкой и
мужеством,
когда, затачиваясь все смелей
на оселке рабочего содружества,
волнует схватка остротой своей.

Живя их интересами, их кровными,
их битвой за насущные права,
все доки мира стачке машут
кранами,
даруя жесты братского родства.
И шведские, французские,
голландские
портовики различных берегов,
бросая свои лозунги горластые,
по-братски откликаются на зов.
С плакатом ленинградцы у
пакгауза,
и таллинцы свою поддержку
шлют,
и — налицо — куда ни глянь —
пожалуйста!—
единогласный трудовой салют.

И пусть учтут
дельцы-предприниматели,
что будет так повсюду и всегда,
что классовой борьбе верны,
как матери,
простые люди — сыновья труда,
что в эти дни, как никогда,
отчетливо
сплотились в битвах миллионы
плеч,
что эту солидарность,
как отечество,
рабочий класс не устает беречь.

Как ни ломают нас — ряды
не сломаны,
и после битв, в какой-то миг,
в тиши
к товарищу прислушаюсь и
словно бы
услышу голос из глубин души:
— Что может быть дороже этой
ценности?
И тем я счастлив и безмерно горд,
что чувство нашей
революционности
и есть мой парус и главнейший
порт.
Куда б ни плыл и где б ни стал
на якоре,
какие б штормы жизни
ни встречал,—
лишь эти битвы — мощные и
яркие —
и есть мое призванье, мой причал.

С победой, братья!
Не сломить вас, докеры,
какой бы там ни мыслился захват!

Подав плечо, натруженное
до крови,
сгружает вечер медный свой
закат.

Лондон — Москва, лето 1970 г.

[1] Субботний вечер.

# ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД

Одна из самых высоких точек Пхеньяна называется Гора пионов (Моранбон). На вершине ее высится величественный гранитный обелиск — Хебантхаб. Этот памятник Освобождения был воздвигнут в честь славной победы 1945 года. В день 25-летия освобождения Кореи от японских захватчиков пхеньянцы и жители других городов, сел страны поднимаются на Гору пионов, где изваянные из гранита кореец и кореянка подносят советскому солдату букеты цветов. Обелиск Хебантхаб хранит память тех незабываемых дней, когда в ходе второй мировой войны Советские Вооруженные Силы разгромили Квантунскую армию — ударную силу японского империализма на азиатском материке.

15 августа 1945 года освобождением Советской Армией Кореи завершилась многолетняя борьба корейского народа за свою национальную независимость, против колониального господства японского империализма. Эта дата навсегда осталась в памяти наших народов, став событием большого исторического значения, заложившим фундамент братской советско-корейской дружбы.

Залечив тяжелые раны войны, освобожденный народ встал на путь социалистического развития и под руководством Трудовой партии Кореи превратил свою республику в развитую индустриально-аграрную страну.

На снимке: вот она — новая Корея. Сегодня каждый четвертый житель КНДР учится.

Фотохроника ТАСС.



# ДЕНЬ НА «ЭКСПО-70»

А. ГОЛИКОВ, специальный корреспондент «Огонька»

Фото автора.

Нынче почти каждый иностранец, приехав в Японию, отправляется на Всемирную выставку «Экспо-70» в Осаку. Туда же устремляются миллионы людей со всех концов страны. Печать, радио, телевидение широко рекламируют выставку, на которой можно «воочию увидеть величие и многообразие нашей планеты».

Я приехал на выставку в воскресенье утром, но уже все стоянки, рассчитанные на 26 тысяч автобусов и автомашин, были переполнены. Приветливая японская девушка в красной униформе надорвала билет, и я шагнул в удивительный город: разноцветные грибовидные зонты величиной с большой дом, какие-то фантастические башни, ажурные конструкции, напоминающие по форме драконов, здания в виде огромных шаров, усеченных конусов. А на улицах разноплеменный человеческий муравейник. Конечно, основная масса посетителей — японцы. Школьники приезжают сюда классами во главе с преподавателями, которые несут над головой флажок, чтобы их не потеряли из виду. Приезжают семьи с целым выводком детей. Малышей везут в колясках, или мамы несут их за спиной.

Направляюсь в советский павильон. Его пик, увенчанный серпом и молотом, взметнулся высоко в небо и виден отовсюду.

Посетителю попасть в советский павильон не так-то просто. Надо под жарким солнцем выстоять огромную очередь, которая начинается у Северных ворот. И люди терпеливо стоят. Ко мне по-русски обратился молодой японец. Он попросил помочь без очереди пройти в наш павильон. «Я уже был там семь раз,— говорил он,— и всегда стоял в очереди. Но сегодня уезжаю, времени мало».

Парень (его звали Инаде) учился в Токийском университете на факультете русского языка. Я спросил, чем ему так нравится наш павильон.

— Начинаешь понимать,— ответил он,— как живет советский народ. Получаешь представление о достижениях Советского Союза. Словно бы съездил в вашу страну. Увидел Ленинград, крейсер «Аврора», Москву, а главное — увидел и услышал Ленина. Я записал на магнитофон его голос. Хочется еще раз взглянуть на часы Ленина, по которым он сверял время Октябрьской революции, на перо, которым Ленин подписывал декреты Советской власти.

Советский павильон пользуется заслуженной популярностью на «Экспо-70». В нем побывали миллионы людей.

Конечно, много интересного показывают высокоразвитые капиталистические страны. Французы демонстрируют технику цветного телевидения. Англичане — авиацию и моторостроение, ФРГ — фототехнику, оптику. Много посетителей и в павильоне США. Экспонаты размещены под землей, как бы в лунном кратере.

Представляет всеобщий интерес космический корабль «Аполлон-8». Лунный камень в прозрачном ящике из бронестекла, около которого дежурит полицейский.

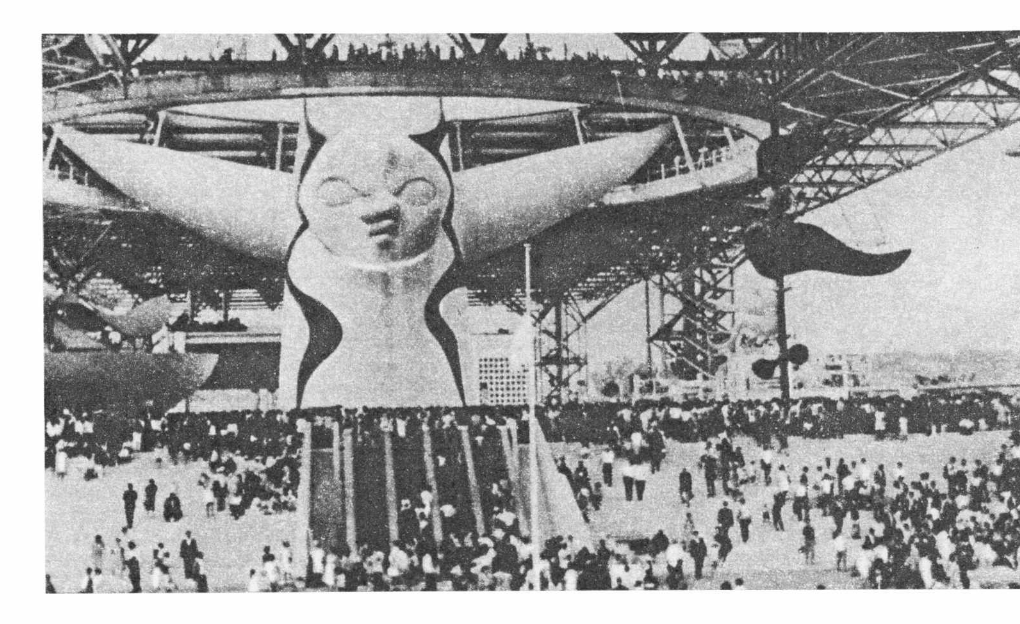
Однако экспонаты американского павильона собраны и размещены далеко не так бездумно, как сказал гид. Они завлекают посетителей, но не дают представления как живет рядовой американец, какие проблемы его волнуют.

Шире всех представлены на выставке ее хозяева. Правительственный павильон Японии самый обширный. Он состоит из пяти круглых зданий, соединенных переходами. Здания расположены так, что вместе они напоминают цветок вишни сакура — символ «Экспо-70». Кроме того, есть павильоны местных органов власти и двадцати восьми промышленных корпораций и групп. Они демонстрируют огромные возможности Японии в области кино, электроники, телевидения, электротехники и оптики.

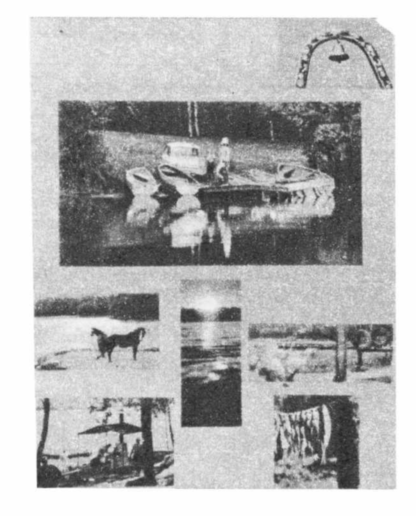
К павильону корпорации «Мицубиси» я подошел уже изрядно уставший. Гид объяснил идею павильона: «Силы стихии могучи. Они враждебны человеку. Но человек сильнее». Вхожу в павильон и... приятная неожиданность: ходить не надо, тебя возят. Эскалатор поднимает на второй этаж, а там — движущийся пол. Через подобие тамбура попадаю в большой город. Слева и справа дома, тротуары, идут пешеходы, мчатся автомобили. Иллюзия полная. Вдруг раздается нарастающий грозный гул, и над крышами домов поднимается пенящийся гребень цунами. Вода с бешеной силой сносит дома, словно спички, крутит автомобили, гибнут люди, и я ощущаю себя в центре катастрофы. Эмоциональная нагрузка огромная. Рядом со мной мальчик лет десяти бросается к отцу, прижимается к нему...

К счастью, пол, на котором мы стоим, движется, и страшное стихийное бедствие остается позади. Облегченно вздыхаю, но... в следующей комнате — извержение вулкана. Опять страшный грохот, рушатся и пылают дома, кричат люди, течет расплавленная магма. Тут тоже техника действует безотказно — начинает казаться, что пол, на котором стоишь, колеблется...

Наступил вечер. Выставочный город засверкал тысячами огней, стал еще волшебней, еще фантастичней.



Башня Солнца.



СТРАНА РОДНАЯ

# ДАР ВАЛДАЯ

В народе рассказывают до сих пор легенду, что среди сторожевых лесов, на красном месте Валдайской возвышенности, там, где Большая дорога то вымахивает в высоту на гривастые крутые холмы, то стремительно падает в темные, волглые овраги, разбился когда-то новгородский колокол, который по велению московского князя Ивана III везли в его княжий город. Разбился, и с тех пор по всей необъятной России заговорили, запели своё чистые поддужные колокольцы — «Дар Валдая». У колокольцев этих необыкновенный, игристый, словно бы рассыпанные капли росы, голос.

Но оставим древнюю легенду.

Каждый, кто когда-либо побывал в вековых еловых пущах Валдая, кто хоть раз заглянул в глубокие, то голубые, то иссиня-темные глаза бесчисленных озер, кто провожал или встречал солнце на красном валдайском яру, слышал, как звенит над лесами небо, как роняют перезвоны июльские сочные травы и озера, и густые леса, и даже тропинки вторят им.

— На Валдае каждая былинка поет,— сказал мне как-то мой давнишний друг — лесник Егор Алексеевич Бурмистров.

Удивителен этот уголок нашей Родины, удивителен тем, что, когда бы вы ни приехали в эти благодатные места, всегда услышите песню — песню радости. Отсюда и тот чистый голос колокольца. Отсюда, от родной земли, этот дар. Слушайте, смотрите родную землю. Она, эта песня, услышится вам, сойдя с журнальной обложки этого номера.

Этот маленький боевой эпизод произошел в декабре 1941 года. Героем его был командир эскадрильи 26-го ночного истребительного авиаполка, замечательный летчик и мужественный воздушный боец Василий Антонович Мациевич. У Мациевича упорный характер. Раз что-то решив, он, как правило, добивался своего. Одно из ярких подтверждений тому — его поединок с тяжелой вражеской мортирой.

А. НОВИКОВ,
Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза

# Конец одной мортиры



* * *

Ныне хорошо известно, какое огромное значение придавали фашисты быстрейшему захвату Ленинграда. Документы неопровержимо свидетельствуют о том, что они намеревались взять Москву лишь после того, как падет Ленинград и на севере будет создан общий фронт с финской армией. Враг не просто стремился овладеть городом Ленина. 8 июля 1941 года начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер записал в своем служебном дневнике: «Непоколебимым решением фюрера является сровнять Москву и Ленинград с землей...» Первоначально уничтожение Москвы и Ленинграда было возложено на авиацию. Выполняя изуверский план своего командования, фашистские летчики с конца июля начали систематически бомбить Ленинград. Четыре месяца, вплоть до конца ноября, «юнкерсы» и «хейнкели» упорно рвались к городу на Неве. Гитлеровцы не считались ни с какими потерями, а они были немалыми.

Мне, тогдашнему командующему ВВС Ленинградского фронта, эти бомбежки особенно памятны. В то время фашистская авиация значительно превосходила нашу и по численности и по качеству своих самолетов. Каждая боевая машина, каждый летчик у нас тогда были буквально на вес золота. Воздушные защитники невской твердыни воевали с предельным напряжением сил. А противник все усиливал удары по городу. Начиная с 6 сентября почти ни одна ночь не обходилась без бомбежек. Вражеские налеты нередко длились по девять и более часов подряд.

Советские летчики в небе Ленинграда дрались, как львы, не задумываясь шли на самопожертвование. Только за три первых месяца войны ленинградские летчики совершили 30 воздушных таранов. Советские летчики сорвали план уничтожения Ленинграда мощью гитлеровской авиации. Но в конце сентября, когда линия фронта стабилизировалась, фашисты в помощь своей авиации привлекли артиллерию. По всему южному полукружию обороны города гитлеровцы начали устанавливать осадные орудия калибром от 150 до 420 мм. Фашистским артиллеристам, как и летчикам, была поставлена задача: превратить Ленинград в груду развалин, а население его истребить.

Вначале враг вел беспорядочный огонь, стремясь прежде всего воздействовать на моральное состояние ленинградцев. Но в ноябре противник перешел на плановый систематический обстрел. Гитлеровцы разработали специальный график обстрелов для утренних, дневных и вечерних часов. Особенно интенсивно велся огонь во время рабочих смен на предприятиях и наибольшего оживления на улицах города. На картах гитлеровских артиллеристов были отмечены и занумерованы не только все крупные промышленные предприятия города, но и детские учреждения, больницы, музеи и архитектурные памятники.

К концу 1941 года на южной стороне, от Финского залива до Ладожского озера, действовало уже несколько группировок осадной артиллерии противника. Воздушная тревога сменяла артиллерийскую, артиллерийская — воздушную. И так длилось беспрерывно, неделями. С начала сентября по конец ноября Ленинград обстреливался 272 раза. Бывали дни, когда фашистские артиллеристы-убийцы не выпускали население из убежищ по 18 с лишним часов подряд. Так было, например, 15 и 17 сентября.

Требовалось немедленно организовать контрбатарейную борьбу. Это было нелегко: не хватало орудий, боеприпасов, наконец, опыта. Лишь в марте 1942 года контрбатарейная борьба сложилась в единую и четкую систему, которая непрестанно совершенствовалась и развивалась. А тогда, в осенне-зимний период 1941 года, борьбу с осадной артиллерией врага каждый род войск вел самостоятельно.

Основная тяжесть в этом сражении легла на плечи артиллеристов армии и флота. Но и летчики вложили в нее немало сил. Они не только вели воздушную разведку, но и при малейшей возможности стремились уничтожить обнаруженные осадные орудия противника. Помощь авиации в этот период была особенно ценна,

так как наша артиллерия сидела на голодном пайке: суточная норма на орудие составляла 3—4 снаряда. Командование фронта сохраняло неприкосновенный запас снарядов на случай нового вражеского штурма города. Гитлеровским же артиллеристам для обстрела города отпускалось неограниченное количество снарядов.

* * *

Было это в декабре. 26-й ночной истребительный авиаполк, специально выделенный для борьбы с вражескими бомбардировщиками, для удобства ведения боевых действий мы решили разделить на две группы. Первая осталась на прежнем месте, северо-восточнее Ленинграда, и прикрывала ледовую трассу через Ладожское озеро. Вторую группу в составе 14 самолетов мы посадили на северном побережье Финского залива, возле железнодорожной станции Горской. Эта группа, которую возглавил В. А. Мациевич, защищала Ленинград и Кронштадт.

В ту памятную всем ночь старший лейтенант Мациевич дольше обычного засиделся у пианино. Он подбирал мелодию на стихи своего друга и ученика Димы Оскаленко.

«Взлетели три «чайки» на трассу»,— одними губами напевал Мациевич. Но мелодия никак не давалась: то получалось чересчур печально, то слишком бравурно. Мациевичу же хотелось, чтобы в музыке присутствовали и лирическое и мажорное начала, чтобы она отражала и горесть потерь и радость побед.

Комэск перестал играть и медленно обвел глазами боевых товарищей. До чего же все они были молоды! Щербина, Ищенко, Оскаленко, Максимов, Цыганенко, Аполлонин, Алексеев... Он самый старый, а ему только двадцать семь. Даже шесть месяцев войны мало изменили ребят внешне, они только похудели да стали менее шумливыми, более сдержанными.

Мациевич знал: парни не подведут — грудью прикроют, как недавно сделал сам Дима Оскаленко.

Во время ночной охоты за вражеской батареей, замаскированной в Урицке, Мациевич попал под очень сильный огонь фашистских зенитчиков. Ему никак не удавалось вырваться из неумолимо сжимавшегося смертельного кольца. Снаряды рвались близко. «И-16» то и дело основательно встряхивало.

Комэска настолько поглотили противозенитные маневры, что он не тотчас заметил, как огонь вражеской зенитной артиллерии неожиданно сместился куда-то в сторону. В направлении Финского залива образовалась щель, и Мациевич, еще не уяснив себе, что именно произошло, бросился в лазейку и выскочил из зоны вражеского огня.

Через несколько минут он был на аэродроме в Горской. Почти одновременно с ним приземлился Оскаленко. С аэродрома он видел частые вспышки выстрелов над Урицком и понял, что Мациевич попал в трудное положение. Летчик доложил о своих наблюдениях командиру полка Романову и попросил разрешения помочь комэску. Романов согласился. Оскаленко стремительно ворвался в зону зенитного огня, ударил эресами по вспышкам орудий и на крутом вираже пошел по кругу, подставляя себя под вражеские снаряды. План удался — противник часть своего огня перенес на Оскаленко...

Мациевич посмотрел на часы.

— Ну, мне пора,— сказал комэск, захлопнув крышку пианино, и стал собираться в полет.

Молча натянул меховой комбинезон, унты, скользнул взглядом по притихшим товарищам, молча кивнул им головой и направился к выходу.

— Ни пуха ни пера! — вразнобой прозвучали за его спиной голоса.

Выйдя на улицу, старший лейтенант постоял немного, давая глазам привыкнуть к темноте, и по узенькой, сдавленной сугробами тропинке зашагал к капониру.

Мороз на ночь еще покрепчал, и снег скрипел на все голоса. С залива тянул ветер. Влажный, он обжигал лицо сильнее, чем самый лютый мороз в безветрие. Комэск прикрыл лицо рукой и глянул вверх. Кое-где проглядывали звезды.

«Ничего погодка,— отметил про себя Мациевич,— достаточно светло, и облака высоко».

У капонира ровно и мощно гудело. Это техник Бирюков прогревал мотор истребителя. Увидев комэска, техник стал вылезать из кабины.

— Погоняй еще! — крикнул Мациевич.

Послушав, как работает мотор, комэск по сугробу взобрался на крышу капонира и стал смотреть через залив в сторону Стрельны. Где-то там, за железнодорожной станцией, у дороги, ведущей на Ропшу, была огневая позиция осадной мортиры, которая обстреливала по ночам блокадный Ленинград. Мациевич выслеживал ее целый месяц. Сперва действовал без плана — летал наудачу. Но гитлеровцы вели себя очень осторожно: сделав один-два выстрела, прекращали огонь. Тогда стал хитрить и Мациевич. Он появлялся над Стрельной то с востока, то с запада, то с юга; то стремительно проносился над местом предполагаемого расположения мортиры на бреющем полете, то убирал газ и планировал. Но ничто не помогало. Вражеские артиллеристы, когда он находился в воздухе, упорно молчали. Молчало и зенитное прикрытие мортиры.

Несколько раз Мациевич наугад посылал в землю эресы, надеясь хоть в отсвете их взрывов приметить позицию осадного орудия. Но ничего подозрительного не замечал. Вокруг было голо, лишь неподалеку от дороги одиноко стояло какое-то кирпичное строение с полуобвалившимися стенами.

— В землю они мортиру, что ли, запрятали? — однажды в сердцах сказал Мациевич Ищенко.— Может, ты что посоветуешь? А не поставили ли они мортиру на специальную платформу? Как то орудие, которое ты уничтожил? Впрочем, нет,— тут же отверг свое предположение комэск.— Она все время бьет из одной точки.

— Поменяй тактику,— посоветовал Ищенко.

— Что же еще можно придумать? По-разному пробовал — не получается. Молчат, и все. Радиолокатор у них там, что ли?

— Я думаю, они тебя по шуму мотора засекают, еще задолго до того, как ты выключишь его. Ты когда переходишь на планирование?

— За километр — полтора.

— Ну, вот! Чего же ты хочешь? Они же слышат тебя, следят за звуком. И вдруг он внезапно пропадает. Не удаляется, не приближается, а пропадает. Вывод один: ты планируешь. Они раскусили твою тактику. Нет, надо менять ее. Ты попробуй спланировать километров за десять от цели. Гул мотора должен оборваться где-то очень далеко, чтобы не вызвать у фрицев подозрения. Только сперва сделай прикидку. Тут расчет должен быть точным.

Совет был дельный, и Мациевич решил воспользоваться им в ближайшем же поиске. Но с запада наползла низкая плотная облачность, видимость резко ухудшилась, и даже вылеты на дежурство были отменены. Непогода держалась неделю. За это время комэск с помощью штурмана сделал необходимые для полета расчеты и выбрал маршрут. Он решил зайти на цель со стороны Петергофа. Соображение было такое: немцам слышен взлет самолетов в Горской, и, естественно, они следят за машинами, пересекающими Финский залив по прямой, поэтому нужно усыпить их бдительность. Как? Выйти к Стрельне дальним круговым маршрутом. Лучше всего по плавной дуге от Сестрорецкого залива, через остров Котлин до южного побережья и далее уже напрямик.

Еще раз мысленно проследив весь маршрут, Мациевич спустился с капонира на землю и похлопал рукой по фюзеляжу «И-16».

— Вылезай! — крикнул он технику.

Сев в кабину, проверил, как работают рули, окинул взглядом приборы, отпустил тормоза. Взлетев, Мациевич по спирали набрал необходимую высоту и намеченным маршрутом вышел к южному побережью Финского залива между Ораниенбаумом и Петергофом. Здесь развернулся, убрал газ и, ориентируясь по темной нитке железной дороги, повел самолет на Стрельну.

В кабине сразу стихло, только посвистывал в плоскостях ветер. Стрелка на высотомере плавно побежала в обратном направлении. Комэск, весь подавшись вперед, так, что натянулись привязные ремни, внимательно всматривался в землю. Она приближалась и светлела. Когда стрелка на приборе начала разменивать последнюю тысячу метров, Мациевич глянул на часы. До восьми вечера, когда гитлеровцы открывали огонь, оставалось чуть более минуты. Впереди слева темным размытым пятном виднелась Стрельна.

«Кажется, успею,— подумал Мациевич.— Только надо ниже».

Он еще дал от себя ручку управления. С увеличением угла планирования скорость возросла. Вот уже нос самолета надвинулся на узенькую, едва различимую на фоне заваленных снегом полей ленту грунтовой дороги. Еще несколько секунд, и она пронесется под крылом, и тогда придется включать мотор и взмывать вверх. Шум мотора спугнет гитлеровцев, и они не откроют огонь до тех пор, пока самолет не удалится. Тогда снова придется набирать высоту и повторять маневр, но уже без всякой надежды на то, что немцы начнут стрельбу именно в тот момент, когда «ишачок» снова окажется над ними.

Мациевич от ожидания весь напрягся, так, что одеревенели руки и заломило в висках. Рванулось и, будто мотор, застучало в груди сердце. Машина уже пересекла дорогу, земля стремительно приближалась, и комэск непроизвольно слегка потянул на себя ручку управления. В этот момент тьму разорвала яркая вспышка, и тут же где-то внизу мощно рявкнула мортира. Чуть впереди себя Мациевич в багровом отсвете выстрела увидел изуродованный снарядами и пожаром остов раньше примеченного им одинокого кирпичного строения. Внутри здания на специальной платформе стояла мортира. Ее тупорылое жерло было задрано кверху, и из него тянулся сизый дым. Вокруг мортиры суетились артиллеристы. Со стороны Стрельны к зданию тянулась узкоколейка, по которой к орудию подвозились боеприпасы. Сверху на здание была наброшена маскировочная сетка. «Ловко приспособились, сволочи!» — мысленно ругнулся Мациевич и нажал гашетку. Последовал легкий толчок, и все шесть реактивных снарядов, соскользнув с направляющих, помчались в цель. Внутри кирпичной коробки грохнул взрыв. Теперь можно включить мотор. Мациевич круто развернул машину и снова устремился в атаку. Внутри здания начался пожар. Должно быть, горели пороховые заряды. В огне и дыму мелькали фигурки вражеских артиллеристов. Комэск дал длинную очередь из пушек, и тогда заговорили скорострельные зенитные установки противника. Трассирующие очереди, перехлестываясь друг с другом, хищно потянулись к краснозвездному истребителю.

Мациевич сделал еще два захода. На последней атаке внутри здания снова что-то взорвалось, выбросив вверх густое облако дыма. Потом сквозь дым прорвались длинные огненные языки. Пожар усиливался, яркие отблески его гасили звезды.

Выравнивая машину, комэск через плечо в последний раз глянул на результат своей боевой работы и кивнул головой. Он остался доволен. В эту ночь Мациевич не рассчитывал на победу. Но он ждал ее и готовился к ней целый месяц. Целый месяц он засыпал и вставал с мыслью об этой мортире. И хотя каждый вылет заканчивался неудачей, он знал, что рано или поздно накроет вражеское орудие, как знал, что никогда не уступит фашистам в воздухе, сколько бы их ни было. Он дрался за Ленинград, и этим сказано все.

И все же, докладывая командиру полка о результатах вылета, комэск уклонился от утвердительного ответа на вопрос, уничтожил ли он мортиру. Передал лишь то, что видел при штурмовке. Окончательный результат требовал проверки временем. Если мортира спустя какой-то срок снова заговорит, стало быть, он, Мациевич, не выполнил задания.

Шли дни. Мортира молчала. И только тогда в личном журнале боевых действий Мациевича появилась фраза: «Цель уничтожена».



Ленинский стипендиат, курсант Анатолий Мазуркевич.

# БУДУ

авиационный прицел целятся в светящегося зайчика, убегающего по замысловатой траектории. И больно видеть горестный юношеский взгляд тех, кто не выдержал какое-то из этих испытаний.

Одни волнения, огорчения и, конечно же, радости сменяются другими. Незаметно для себя эти ершистые, озабоченные мальчишки превращаются в сосредоточенных, по-своему щеголеватых молодых военных, которых мы встретили на аэродроме училища в один из летных дней.

Редко где можно наблюдать полеты такой интенсивности. Взлетающие самолеты только-только успевают вклиниться в промежуток между приземляющимися. Надо четко соблюдать плановую таблицу, дать разрешение на взлет,

День летный.

# ЛЕТЧИКОМ!

*Начало см. на стр. 1.*

**посадку. Одного предупредить, второму подсказать. Сегодня руководит полетами командир передового подразделения подполковник Николай Емельянович Картавый. Поражаешься, как можно разобраться в столь сложной воздушной и наземной обстановке, за секунды найти единственно правильное решение и дать команду летчику. Делает он это мастерски. Спокойно, уверенно. Только то, что фуражка снята и лежит на столе, да чуть взмокший лоб косвенно свидетельствуют о напряженности работы. А голос — ровный, четкий:**

**— Я вас наблюдаю. Правильно, шестьдесят седьмой, отверните немного вправо, впереди шестьдесят первый.**

**...Идут учебные полеты будущих офицеров Военно-Воздушных Сил.**

Год спустя...



# Командир летающих стрел

Геннадий СЕМЕНИХИН

Первое наше знакомство состоялось на заседании Военного Совета.

Мое внимание привлек невысокий, плотно сложенный офицер с добрыми, внимательными глазами и четко очерченным энергичным ртом. Едва только председательствующий назвал его фамилию, в зале раздались дружные аплодисменты. Полковник неторопливо пересек зал, поднялся на трибуну. Под шапкой густых волос с примесью ранней седины сбежались морщинки, когда он, обращаясь к залу, произнес первые слова:

— Наша часть второй год удерживает звание отличной. Это нелегко. Я привык считать, что если хвалят меня, то это успех всей нашей части. Если же нашу часть ругают, значит, это моя ошибка, мои промахи.

Закончив свое короткое выступление, полковник так же неторопливо возвратился на место, снова провожаемый аплодисментами. А я, поглядев на него, подумал о том, как много напряженных, а быть может, и вовсе бессонных ночей пришлось ему провести, чтобы часть стала отличной. Видимо, потому и появились в густых его волосах серебристые паутинки. Захотелось познакомиться с этим человеком, но сразу же после заседания к зданию Дома офицеров подкатили три автобуса, и все мы отправились на экскурсию в Берлин.

Мы начали с осмотра музея боевой славы в Карлсхорсте. В здании, где в памятном мае 1945 года маршал Г. К. Жуков и представители верховных командований союзных государств принимали от Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа полную капитуляцию, сейчас собраны редкостные экспонаты, повествующие о победном завершении войны. Знамена, ордена, оружие, картины и фотостенды. В одном из залов — мрачные атрибуты фашистских лагерей: полосатые халаты, в которых влачили свое горькое существование заключенные, цепи и наручники, применявшиеся гитлеровскими садистами, фотографии изможденных людей с тоской и болью на лицах. И вдруг я услышал за спиной негромкое восклицание человека, внимательно рассматривавшего деревянные колодки.

— Точно такие я носил... С сорок первого по сорок третий!

Я обернулся и встретился с печальными глазами того самого невысокого, плотно сложенного командира, который привлек мое внимание на заседании Военного Совета. Это был полковник Виктор Александрович Коротков. Несмотря на седые нити в волосах, лицо его выглядело довольно молодо.

— Простите,— возразил я недоверчиво,— но вы слишком молоды для того, чтобы в сорок первом быть военнопленным.

— А я им и не был,— вздохнул Коротков.

— А как же колодки, о которых вы только что сказали?

— Для этого не обязательно надо было быть военнопленным,— неопределенно пожал плечами Коротков.— Я их носил, когда мне было немногим больше одиннадцати.

* * *

Мы сидим в просторном кабинете командира полка. За широкими окнами открывается вид на аэродром, притихший в нелетное время. Мелкий дождь неторопливо расползается по стеклам. И так же неторопливо рассказывает о своем нелегком детстве человек в скромной летной куртке.

— Скажите, когда вы поседели? Это авиация наградила вас ранней сединой?

Командир полка качает головой.

— Нет. Авиация слегка только прибавила...

...Первый год суровой войны! Лег он тяжким бременем на нашу страну, на весь наш народ, в каждой семье оставил горькие следы. Кто получил похоронную, кто потерял крышу над головой, кто вынужден был бросить насиженное гнездо и пробираться на восток, чтобы начинать там новую жизнь. У одиннадцатилетнего Вити Короткова этот год сложился и того горше. Отец его Александр Федорович, слесарь-сборщик, вместе с заводом отправился в эвакуацию. Мать забрала сына и увезла к бабушке, в деревню. Думала, там будет спокойнее, меньше воздушных налетов. Но ошиблась Клавдия Михайловна. В конце августа жители деревни проснулись от страшного слова, передававшегося из дома в дом тревожным шепотом: «Фашисты!» Виктор подбежал к окну и увидел, как по пыльной улице шагают чужие люди, как глухо топают по его родной земле их сапоги с подковками. В полдень гитлеровцы согнали на площадь всех жителей и объявили «новый порядок», которому должны повиноваться советские люди. За попытку уйти из села — расстрел! За появление ночью после комендантского часа — расстрел! За несдачу продовольствия армии фюрера — расстрел!

Кто-то донес фашистам, что отец Вити — советский активист, депутат райсовета, а теперь на востоке делает оружие для Советской Армии. Вчерашнего пятиклассника вместе с матерью заключили в концлагерь. Чего только не насмотрелся он за три года, какие физические и моральные муки перенес! В полосатой одежде, в деревянных колодках, больно натиравших ноги, под конвоем выходил на самые тяжелые работы: то дорогу строить, то бараки возводить, которые должны были заменить дома и квартиры для советских людей на оккупированной земле. Плетка надсмотрщика сторожила каждый день.

Линия фронта была недалеко. В зимнем стылом небе то и дело вспыхивали жестокие воздушные схватки. В ту пору большой численный перевес был за «мессершмиттами» и «юнкерсами». И нашим истребителям приходилось очень тяжко. Однажды Виктор Коротков был свидетелем незабываемого по своему трагизму воздушного боя. В предзакатных лучах зимнего солнца короткокрылый истребитель «И-16» вступил в бой с шестеркой «мессершмиттов». Один против шести! Перевернувшись в солнечных лучах, он устремился в атаку и длинной очередью полоснул ведущий самолет противника. Расчерчивая дымной полосой голубое небо, фашист беспорядочно заштопорил к земле. Надо было видеть, как посветлели лица худых, измученных людей, из-за колючей проволоки концлагеря наблюдавших за неравным воздушным боем. Но радость длилась мгновение. На глазах у заключенных два «мессершмитта» спикировали на одинокий «И-16» и пушечными очередями зажгли его. А потом, когда советский летчик выбросился с парашютом, фашистские истребители до самой земли расстреливали его из пушек. Виктор не стал дожидаться, когда бездыханное тело советского летчика упадет в лес. Закрыв ладонями глаза, он бросился в барак, повалился на прикрытые тряпьем нары и горько заплакал. Он плакал долго и зло, вспоминая подробности этого боя и героическую гибель смельчака, пилотировавшего краснозвездный «И-16». А потом мальчик заснул, и ему снился нескончаемо длинный сон, будто он настигает фашистский самолет, но вовсе не на «И-16», а на каком-то невиданно быстром самолете, оставляющем позади себя огненный след. Он жмет на гашетку, от его самолета отделяется похожий на настоящую молнию снаряд и взрывает фашиста.

Мальчик очнулся оттого, что его грубо трясли за плечи. Начинался новый томительный день в концлагере.

...Виктор Александрович Коротков задумчиво смотрит в широкое окно своего командирского кабинета. Там, за окном, на рулежных дорожках аэродрома, действительно стоят «самолеты-молнии», тонкие, с устремленными вперед трубками ПВД и под острым углом отведенными назад стреловидными крыльями. Даже сейчас, когда недвижимо замерли они на летном поле, так и кажется, что упрятаны в этих плоскостях, кабинах, фюзеляжах огромная скорость, огонь, способный поразить любого противника на любой высоте. Уже много лет летает он на таких «самолетах-молниях». Мастерски летает и мастерски учит летать других.

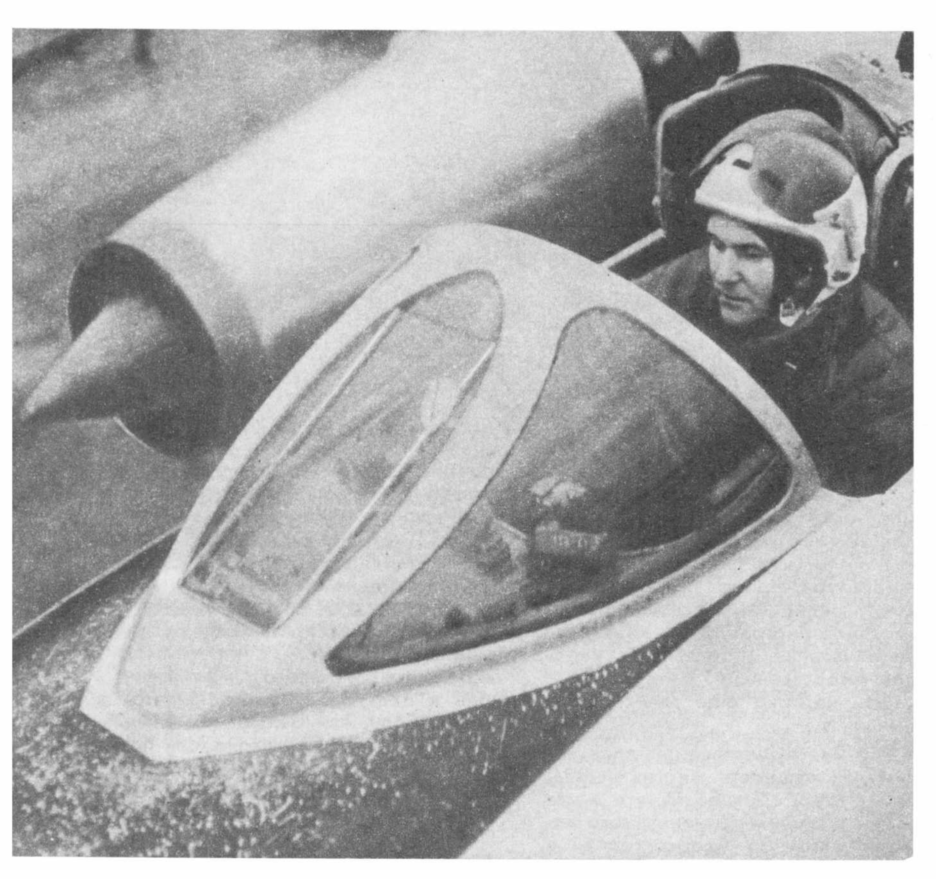
Нелегко далось ему это мастерство. Много испытаний, трудностей осталось позади. Ейскую школу военных летчиков окончил он в 1952 году на самолете «Ла-9». Потом служба в войсках. Был командиром звена, военным летчиком второго класса, когда послали учиться в военную академию, на командный факультет.

Затем служба в новых частях, полеты на новых самолетах, более скоростных и сложных, чем предыдущие. Так уж устроена наша военная авиация, что здесь никогда не останавливаются на достигнутом. Едва успев в совершенстве овладеть одной конструкцией, летчик пересаживается на другую, более сложную, впитавшую самые последние достижения науки и техники.

Свыше десяти типов истребителей освоил Коротков. За лаконичной этой справкой — годы упорного труда, напряженной учебы в воздухе и на земле, огорчений от не разгаданных и не устраненных вовремя ошибок и радостей за удачные взлеты и посадки.

В 1966 году Виктор Александрович Коротков стал командиром авиационной части. Вряд ли он забудет тот день, когда впервые обошел строй воздушных бойцов. Пытливо вглядывался в их лица и ловил на себе такие же пытливые взгляды. Как теперь пойдут дела?

Авиационная часть имела свои богатые боевые традиции. Ее воинами совершены незабываемые подвиги. Вся страна знала имя летчика первого класса майора Александра Александровича Иванушкина. В ночном полете при атаке воздушной цели у него отказало управление. Страшная сила опрокинула самолет, бросила его вниз. От перегрузки потемнело в глазах. Но летчик не потерял самообладания, он старался понять, что произошло с машиной, старался спасти ее и себя. Двигатель еще работал, но машина сквозь беспросветные ночные облака неслась к



**Командир летающих стрел Виктор Александрович Коротков.**

**Фото В. Малеванченко.**

земле. Оставалось последнее средство — привести в действие катапульту. Но внезапно разорвались облака, и уже на небольшой высоте Иванушкин увидел внизу размывы электрических огней, ярко освещенные проспекты, площади, улицы большого города. Мгновенно мелькнула мысль о тех, кто через минуту-другую погибнет от взрыва — не на войне, а вот так, в тихую, мирную ночь. И тогда огромным усилием отвернул он от города падающий самолет. Но высоты уже не было, и выброситься на парашюте он не смог. Пылающим факелом пронеслась машина в стороне от жилых кварталов и взорвалась в открытом поле. Во имя жизни других погиб наш советский летчик!

Коротков рассказывает мне о бесстрашии Александра Иванушкина. А потом протягивает листовку.

— Это не о нем... Это о капитане Игоре Беликове. Я его командиром был.

С фотографии смотрит открытое, широкое русское лицо. Чуть-чуть прищурился военный летчик и весело глядит на мир из-под козырька авиационной фуражки, отделанной голубым околышем. На руках он держит смеющуюся девочку в белом капоре и коротком пальтишке.

— Уже при мне было,— вспоминает полковник Коротков.— Отличный был летчик.

— А почему вы говорите «был»?

— Потому что сейчас в нашей части его нет. Учится в академии. Кстати, в те дни, когда он готовился к поступлению в академию, все это и произошло.

**...Капитану Беликову перед поступлением в академию понадобилось пройти последний медицинский осмотр. В гарнизон он должен был вернуться к обеду, но почему-то задержался. Уже давно отлетала дневная смена, сумерки стали ложиться на летное поле, когда командир, отправляясь на отдых, повстречал в авиагородке торопившегося к своему домику капитана Беликова.**

**— Как дела? — остановил его Коротков.**

**— Все в порядке,— быстро ответил капитан.— Комиссию прошел.**

**Коротков сразу заметил, что летчик чуть навеселе, и с некоторым недоумением задержал взгляд на большом букете алых гвоздик в его руках.**

**— У вас сегодня цветы и шампанское? — усмехнулся Коротков.**

**— Угадали, товарищ командир,— весело ответил летчик.**

**— И по какому же поводу, если не секрет? Торжество в семье?**

**— Нет. Немцы подарили.**

**— Немцы? — удивленно переспросил командир.— За что же?**

**— Я дочку их поймал, товарищ полковник... Маленькую девочку...**

**— Какую девочку?— совсем уже оторопело переспросил Коротков, опешивший от одного того, что его подчиненный находится в состоянии легкого опьянения и даже не пытается «попридержать дыхание».**

**— Какую девочку? — рассмеялся Беликов.— Да ту, которая с шестого этажа падала. Вот меня родители вытащили на вокзале из вагона и угостили, как полагается...**

**...Шагал Беликов по улице города и увидел толпу людей. Лица мужчин и женщин растерянны, испуганны. Разводят руками и смотрят вверх. А там, на шестом этаже, судорожно уцепившись ручонками за карниз окна, висела девочка. Пальцы ее быстро ослабевали и разжимались. Еще несколько секунд — и девочка погибнет. Но этих секунд хватило советскому офицеру, чтобы принять единственно возможное для него решение: он растолкал толпу, стал прямо под окном, снял шинель и на глазах у оцепеневших людей набросил ее на свои сильные руки. А ребенок белым комочком уже падал вниз. Едва ли кто из видевших мог поверить, что капитан поймает ее. Но когда он присел, чтобы смягчить удар, люди поняли: девочка уже барахтается на шинели. Крики радости огласили улицу. Так была спасена немецкая девочка Катрин, единственная дочь супругов Леманн. Ускользнув от внимания взрослых, она играла на подоконнике и оступилась. Впрочем, капитан Беликов этих подробностей тогда не узнал. Он тихо и незаметно проследовал на вокзал. Беликов уже сидел в вагоне, когда здесь появились радостные супруги Леманн.**

**— Смотрите! — закричал Хельмут.— Это и есть тот самый советский капитан... Нет, нет! Никуда вы сейчас не поедете. Немедленно выходите из поезда, если не хотите нас навсегда обидеть.**

**Пришлось Беликову повиноваться. Пришлось выпить за здоровье Катрин.**

**...Внизу на листовке небольшая фотография: женщина в очках прикрепляет к кителю капитана Беликова Золотой знак Общества германо-советской дружбы.**

Виктор Александрович Коротков «комментирует» листовку и вспоминает:

— Когда немцы спросили Беликова, как это он смог решиться на такое дело, Игорь ответил: «У нас в полку так поступил бы каждый!» Я потом вдумывался в его слова, заглядывая в лица летчиков, на старте, в учебном классе, в кабинете. Самого себя спрашивал. А этот смог бы? А этот? И всегда отвечал: да, смог бы! Красивая душа у советского летчика. Посмотришь на одного, другого и подумаешь: ведь ничего героического или там сверхъестественного в его внешности нет. Обыкновенный офицер — волевой, находчивый, смелый, готовый рисковать жизнью ради другого. А такие у нас действительно все.

Я посмотрел на Короткова и подумал о том, что именно таких летчиков воспитывает командир.

* * *

...Пасмурный день с быстро меняющейся облачностью. Хлещет холодный дождь. Серое небо то снижается над летным полем, то чуть поднимается вверх. Нижняя кромка облачности крайне непостоянна. Но учебные полеты не прекращаются. Хорошо подготовленные экипажи выполняют план налета в сложных метеорологических условиях. Напряженно в эти минуты и на командном пункте. Штурманы-операторы и планшетисты бдительно следят за воздушной обстановкой, проводят одну воздушную цель за другой. Время от времени, когда на огромной высоте за облаками завершается атака, звучит негромкая фраза-доклад: «Цель перехвачена».

Руководил в этот день полетами один из заместителей Виктора Александровича, опытный летчик и методист. Но обстановка была сложной, и командир части, стоя рядом со столиком руководителя полетами, нет-нет да и прислушивался к его переговорам с находящимися в воздухе самолетами. Вот в динамике послышался чуть надтреснутый голос: летчик-инженер, командир звена Трубчанинов запрашивал разрешение на посадку, не выпуская тормозного парашюта.

— Вас понял. Разрешаю,— ответил руководитель полетов и на всякий случай вопросительно посмотрел на Короткова. Тот одобрительно наклонил голову: «Согласен». А через несколько минут из-под низкой кромки облаков выскользнул истребитель и точно зашел на полосу.

— Расчет и посадка отличные,— сообщил руководитель полетов.

Между тем дождь усилился. Небо нависло еще ниже. В динамике звучит голос молодого летчика, запрашивающего разрешение на второй самостоятельный полет. Руководитель полетов поднес было к губам микрофон с явным намерением разрешить выруливание и взлет. И вдруг — встревоженный вопрос Короткова:

— При какой минимальной высоте облачности можно допускать лейтенанта к полету?

Руководитель ответил.

— А сейчас какая высота?

— Точно такая.

— Но пока он вырулит и взлетит, облачность сядет еще ниже. Стоит ли рисковать?

Руководитель полетов вздохнул и приказал молодому летчику оставаться в кабине, не запускать двигатель. А через минуту-две облака еще ниже прижались к земле, и стало ясно: если бы молодой летчик в этих условиях взлетел, ему нелегко пришлось бы во втором самостоятельном полете.

— Спасибо, командир, вовремя поправили вы меня,— сказал офицер, руководивший полетами. Коротков мягко улыбнулся в ответ.

Это умение быстро оценить обстановку, тактично вмешаться в действия подчиненного, если в том есть необходимость,—характерная особенность Виктора Александровича. Хороший психолог, внимательный и заботливый командир, он умеет незаметно, никого не обижая, подсказать правильное решение, удержать подчиненного от промаха, обратить внимание на ценный опыт.

Настоящий командир — это дирижер большого оркестра. Есть такой слаженный «оркестр» и у Короткова: это его заместители, командиры эскадрилий, летчики, инженеры, механики — люди, которым он безмерно верит, в успехах которых видит свой успех.

* * *

...Поздний вечер. Сегодня ночных полетов нет, у экипажей отдых. В квартире у Коротковых во всех комнатах горит яркий свет. Дети, Люда и Саша, готовят уроки. Жена командира Валентина Васильевна колдует над кофеваркой. И до чего же хороши эти быстро пролетающие часы вечернего отдыха, когда можно поиграть с детьми, серьезно расспросить их о занятиях, ответить на вопросы, которые так часто встают перед ними, о многом поговорить с женой!.. Но сегодняшний вечер хозяев дома посвящен гостям из Москвы. Они радушно потчуют их. И, конечно же, каскад вопросов — спрашивают о московских театральных премьерах, о новых линиях метро и жилых массивах столицы, о литературных новинках. Многое интересует людей, живущих вдали от родины.

Виктор Александрович — страстный фотолюбитель. После ужина несколько смущенно показывает он свои работы. На снимках — товарищи, дети, жена. Вот большой фотопортрет Валентины Васильевны. Чуть склоненное задумчивое и немного тревожное лицо. Вероятно, такой она бывает, когда ждет с полетов мужа. Жизнь жены летчика — всегда в тревогах, от этого никуда не уйдешь.

...Ранним утром командир летающих стрел снова надолго уйдет на аэродром, и о начале его трудного увлекательного рабочего дня Валентина Васильевна и дети узнают по гулу взлетающих с широкой бетонированной полосы реактивных истребителей.

Владислав ШОШИН,
кандидат филологических наук

# ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

I

Вопросам национального своеобразия и интернациональной значимости искусства придается в настоящее время все большее значение. Это определяется не прихотью того или иного деятеля искусства, а самой исторической обстановкой. Обострение социальной борьбы в странах капитала в связи с углубившимися противоречиями в капиталистической системе, развертывание национально-освободительной борьбы народов,— все это содействует тому, что вопросы национального и интернационального в искусстве ставятся в центр внимания.

Интерес к вопросам национального порождает сама практика социалистического развития нашей страны, в ходе которого осуществился и окреп союз равноправных народов, благодаря чему всему миру, всем доныне угнетенным нациям был показан путь практического решения национального вопроса, единственный путь, который может обеспечить расцвет национальных культур.

Стремясь дискредитировать достижения социалистических наций, идеологи империализма ставят под сомнение справедливость принципов, на основе которых были возможны эти достижения.

Не случайно именно реакционные теоретики твердят об устарелости национальных традиций, выступая якобы во имя общечеловеческой культуры, трактуя ее на самом деле как космополитическую.

Национальное начало искусства по-прежнему является сложной диалектической категорией, чего не учитывают ультрасовременные ниспровергатели. Прогрессивные деятели литературы, живописи, музыки подчеркивают, что американизированная проповедь «вненационального» не только политически реакционна по своей социальной сущности и демагогична по методике ее пропаганды, но и ложна по своим философским предпосылкам. «Искусство каждой страны,— писал индийский художник Барода Укил,— обязательно должно отличаться друг от друга по той причине, что жизнь народа и окружающая его среда различны».

Исследователь вопросов национального своеобразия и интернационального значения литератур находит особенно богатый материал для изучения, обращаясь к опыту советской литературы, которая сильна и значительна тем, что глубоко постигает и раскрывает духовный мир народов, их думы и чаяния, социальные и нравственные поиски.

Интернационализм советской литературы проявляется прежде всего в ее мировоззренческом «настрое», в утверждении ею в художественной форме идеалов равноправия и дружбы народов. Исследователи советской литературы рассматривают ее историю как историю становления интернационалистского миропонимания и отражения его в образах героев. Интернационализмом проникнуты произведения писателей, стоявших у истоков советской литературы,— А. Блока, В. Брюсова, М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, Д. Бедного, А. Серафимовича. Интернациональный пафос звучит в творчестве ведущих советских писателей различных национальностей — Д. Фурманова, М. Шолохова, М. Рыльского, А. Исаакяна, М. Турсун-заде, А. Фадеева, П. Тычины, М. Пришвина, А. Венцловы, Н. Тихонова, А. Упита, Б. Кербабаева, К. Федина, Ю. Смуула, П. Павленко, К. Кулиева, О. Гончара и многих других.

Отражая наиболее существенные проблемы современности, передавая подъем революционного, национально - освободительного движения, советская литература запечатлевает становление нового героя в условиях ломки старого строя и строительства новых общественных отношений. В произведениях советских писателей увековечены современники исторических событий. Их образы сохраняют непреходящее идейно-эстетическое значение. «Величайшие произведения искусства, созданные революцией,— писал Ромен Роллан в предисловии к роману Н. Островского «Как закалялась сталь»,— это люди, порожденные ею».

Судьба социалистической революции в нашей стране в 20-х годах решалась не только на русских просторах, но и во всех других республиках.

Напряженный процесс творческого отражения инонациональных характеров русской советской литературой привел к созданию целого ряда интересных и содержательных образов участников революции и гражданской войны, борющихся за свою социальную свободу, за национальное возрождение («Кочевники» Н. Тихонова, «Стрелок из лука» П. Скосырева, «Меседо» Р. Фатуева, «Пустыня» П. Павленко, «Черный Магома» С. Мстиславского, «Всадники и пешеходы» П. Лукницкого и другие).

Классическая русская литература воссоздавала национальные характеры и тех народов, которые не могли в условиях царизма развивать собственные литературы (народы Крайнего Севера, Дальнего Востока, некоторые народы Северного Кавказа, Сибири). Революция дала права всем народам России. Но процесс вызревания кадров национальной культуры не мог быть мгновенным. Поэтому для 20-х и даже 30-х годов характерно то, что русская советская литература, продолжая благородную традицию русской классической литературы, создавала национальные образы тех народов, собственные литературные кадры которых еще только складывались.

Весьма существенно для понимания сущности многих инонациональных образов то, что в них всходят ростки национального самосознания. Во многих героях в процессе роста классового сознания не утрачивается, а, наоборот, укрепляется национальная гордость. Именно новые социальные условия позволили развиться и окрепнуть качествам, которые глубоко коренились в характерах народов, но не развивались опять-таки в силу социальных условий, в прошлом им не благоприятствовавших.

Изображая жизнь народа, писатель не может не передать национальной окраски его мышления, миропонимания, быта. Мысль о том, что национальное не только придает «колорит» творчеству, но и составляет самую его душу и сообщает ему величие, Белинский подчеркивал, говоря, что «для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим».

М. Горький, В. Маяковский, А. Серафимович, С. Есенин и другие выдающиеся советские писатели сумели глубоко раскрыть национальное своеобразие революции. Для них Пушкин и Некрасов, Тургенев и Лев Толстой не были «чужими» в художественном познании современной действительности. Однако можно было слышать категорические утверждения «нигилистов» 20-х и 30-х годов. Забывая о национальных традициях русской классической литературы, они забывали о национальном своеобразии современной русской литературы. Веру Горького в «национальность характера» забивал «пафос космополитизма» (выражение А. Толстого).

В ходе истории русского трудового народа формировались определенные черты национального характера. Писателям, которые, по определению Добролюбова, стремились проникнуться народным духом, прожить его жизнью, удавалось передать эти черты. Пушкинский «Евгений Онегин» представлял собой, по словам Белинского, в высшей степени национально-русское произведение. Отражение своеобразных черт русской жизни определило национальную специфику творчества Л. Толстого. Но что до всего этого было в 20-е годы, например, Осипу Бескину! «Она еще,— иронизировал критик,— доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем». Здесь все свалено в кучу: и быт народа и его предрассудки. Поминки для Бескина только антураж — можно ли еще показательнее выразить свое неуважение к народной жизни? Почему-то критика раздражают и «ларцы», и сундуки, и «ватрушки». Да, народ мог лакомиться только по праздникам, а праздники имел только церковные, но повод ли это для глумления над народом со стороны того, кто рядится в тогу его защитника? И почему стремительный разврат предпочтительнее медлительного? И почему за национальные особенности выдается и то, что является лишь накипью на них (тараканы, акафисты)? Прав был Белинский, который писал, что «национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума. Это не признаки даже и народности, а скорее наросты на ней...»

Осмысление вопросов национальной специфики советской литературы чрезвычайно усложнилось в первые годы революции тем, что некоторыми литераторами неправильно понималась самая суть национального в действительности. Национальное отождествляли с консервативным, главным образом в сознании и психике русского крестьянства. Эта схематическая концепция была довольно устойчивой. Пытаясь лишить русский рабочий класс национальных качеств, а с другой стороны, русское крестьянство — общечеловеческого, интернационального содержания, иные критики и писатели противопоставляли интернациональное национальному вообще, как и новое — традиционному в целом. Отсюда отрицание национальных традиций рапповцами, конструктивистами, лефовцами.

Национальный нигилизм, который пытались некоторые утверждать под лозунгом интернационализма, обеднял и его, ибо обуславливал недооценку интернационализма русской литературы. Отрицатели национального яв-

# —МЫ!

но забывали ленинскую теорию о двух нациях в каждой нации, о двух национальных культурах в каждой национальной культуре. В. И. Ленин писал еще в 1913 году: «Есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова». В тех случаях, когда поднимался разговор о развитии национальных литератур, как бы забывали, что русская литература — тоже национальная литература. Такая точка зрения приводила к обеднению самой русской литературы, к вульгаризации творчества ряда писателей (М. Пришвина, Л. Леонова, М. Шолохова и др.), которые, борясь за народную литературу, уже тем самым боролись и за её национальное своеобразие.

Недооценка национального своеобразия русской литературы, как классической, так и советской, не только препятствовала ее собственному развитию, но и причиняла ущерб делу многонационального культурного строительства, приводя к недооценке национального своеобразия и братских литератур. Благотворному развитию литературно-общественной жизни способствовали некоторые организационные мероприятия. В 1932 году ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», на основании которого все писатели, поддерживающие советскую платформу, были объединены в Союз советских писателей, проведший свой первый съезд в 1934 году. Организационные события были выражением глубинных процессов, происходивших в общественном сознании.

В 30-е годы все более активно обнаруживало себя стремление к народности литературы, актуальности и общезначимости ее содержания, демократичности формы. Стремление «слиться с массами» означало и поворот к народно-поэтическому творчеству, и внимание к конкретной жизни народа, и рост уважения к его прошлому, к его национальной культуре. Все это сыграло существеннейшую роль в последующий период нашей истории, начавшийся 22 июня 1941 года.

Взяв на вооружение «теорию» о культурной отсталости славянства, Гитлер «отказал» русской нации и в способности к государственному самоопределению. Германскому шовинизму необходимо было противопоставить напор патриотического чувства. А. Метченко еще в 1943 году отмечал, что «старые слова «Россия», «русский» в дни Великой Отечественной войны начали свою вторую жизнь».

Борясь с фашистской идеологией национальной исключительности, недостаточно было, однако, противопоставлять ей лишь патриотизм. Через любовь и преданность своей стране советский человек приобщался ко всему прогрессивному человечеству, к чувству интернационализма как уважению других народов.

Органическая связь различных областей нашей страны в равноправной семье народов приводит к «обобществлению» организационно-нравственных проблем, отражаемых литературой («Делегат грядущего» П. Лукницкого, «Живая вода» А. Кожевникова, «Быстроногий олень» Н. Шундика). В 50-е и 60-е годы, окидывая мысленным взором пройденный путь, писатели нередко обращаются к прошлому, чтобы четче определить вехи пройденного, лучше понять настоящее («Вместе с друзьями» Ю. Шестаковой, «Алитет уходит в горы» Т. Семушкина).

С течением времени первые годы Советской власти стали восприниматься как пусть недавняя, но уже история. Когда мы говорим о том, что изображение прошлого следует поставить на службу будущему, то имеем в виду не только отдаленные эпохи, но и времена 20 — 30-х годов. Обращение современных писателей к темам революции и социалистического строительства обусловлено стремлением осмыслить прошлое с позиций нашего времени и с высоты провозглашенных Великим Октябрем идеалов оценить настоящее. Эта двуединая цель реализуется в целом ряде произведений.

Центральным идейным стержнем многих из них является изображение сложного процесса вызревания в сознании героев интернационалистского миропонимания. Так, например, действие романа Федора Субботина «Облава» происходит в двух национальных средах — русской и калмыцкой. Калмыцкому бедняку, испытывающему гнет со стороны русских кулаков, и невдомек, что между людьми пролегает незримый, не национальный, а социальный водораздел. А между тем презирающий простых калмыков богач Шарапов не гнушается обратиться за помощью к влиятельному Цедену. И тот помогает ему, «как родному брату». Но постепенно калмыцкие батраки начинают понимать, что их сила — в единении с русскими братьями по классу. Их объединяет социально определенное отношение к жизни, отношение творцов, а не хищников.

Показывая сложность преодоления национальных перегородок в ходе классового сплочения, авторы обрисовывают конкретные условия жизни в многонациональной России, способствовавшие сближению. Детство, например, героя романа Георгия Холопова «Гренада» проходило в доме, где жило сорок жильцов двадцати трех национальностей: «армяне, грузины, греки, русские, украинцы, персы... поляки, немцы, латыши, таты—они же горские евреи,— просто евреи, китайцы, дагестанцы, туркмены...»

Однако следование интернационалистским идеям Великого Октября вовсе не означает забвения национального начала. Борьба за реалистическое воспроизведение многонациональной действительности остается борьбой за правдивую передачу жизни народов, раскрытие действительного направления их исторического развития, передачу национальных особенностей. Вот почему глубокого смысла полон восторг Николая Тихонова перед национальным искусством восточных народов, в среде которых ему доводится бывать. В недавно изданной книге «Шесть колонн», удостоенной Ленинской премии, маститый писатель с юношеским вдохновением передает, например, танец бирманской танцовщицы: «Это было тончайшим искусством, все ее существо строго подчинялось тому порядку танца, при котором руки, ноги, плечи, голова, пальцы рук и ног выполняли определенные положения классического танца с такой легкостью, что, казалось, ожила, влетела в дом из безумной тропической ночи огромная пестрая бабочка или дух леса, танцующий под луной на дикой поляне, посетил дом...»

Писатели, в том числе молодые, не просто берутся за трудную задачу изображения жизни других народов, но и стремятся решить ее с позиций социального анализа. Выступивший в прошлом году с первой книгой прозы Василий Лебедев — пример тому. Герой его повести «Жизнь прожить...», русский крестьянин, живя среди финских тружеников, приходит к мысли об интернациональном братстве трудящихся: «Все люди, в этом Иван был твердо убежден, делятся на подлых себялюбцев и на простых, добрых. С этими, простыми, ему самому просто и легко, потому как, сколько успел заметить Иван, они сами такие же, как он. Это они работали с ним в порту, обливались потом, мерзли, пили водку, падали, горбатясь, на берегу, и их потные рубахи пахли так же, как у русских...»

В той же повести Василия Лебедева, раскрывающей пути к интернациональному братству трудящихся, с не меньшей художественной силой и убедительностью раскрыто обаяние национальных особенностей, качеств, обычаев героев. Колоритны финны с их неторопливой застольной беседой, с их уважением к труду, с их нравственной строгостью и прямотой. Колоритен и русский крестьянин, добивающийся на чужбине уважения к себе добротой, искренностью, отзывчивостью, трудолюбием.

Более того. Национальные черты в характере героя только и делают его конкретной, жизненно достоверной личностью. В герое романа С. Сартакова «Ледяной клад» с первых страниц узнаете грузина. Хоть и общечеловечно уважение к матери, к женщине, но в характере грузина с особенной яркостью проявляется сыновняя почтительность, мужская нежность.

Но, к сожалению, сохраняется и недооценка национального.

Из плодотворных исторических процессов делаются порой реакционные выводы. Вновь заявляет о себе вопрос: если советская литература едина, интернациональна, то не изжило ли себя понятие национального? Отсутствие национального кажется некоторым теоретикам непременным признаком социалистического. Борьба за дальнейшее устранение национальных предрассудков и пережитков этими теоретиками понимается как борьба против национальных традиций. Полемизируя с ними, литературовед П. Выходцев пишет в своей недавно вышедшей книге «Поэты и время»: «Когда опасаются, что верность писателя национальной традиции и национальной тематике ограничивает интернациональное звучание и значение его творчества, неверно понимают саму суть национального. Разве любой народ не несет в себе идеи и идеалы общечеловеческие, а передовые силы всякой нации не выражают интернациональные устремления? Разве интернациональное складывается не из тех элементов, которые вырабатываются в самих нациях? В чем же тогда смысл скорейшего преодоления национального во имя интернационального? Какая необходимость в этом? Речь должна идти лишь о преодолении консервативного в национальном».

Лучшие произведения русской советской литературы, посвященные интернациональной теме и передающие национальное своеобразие, знаменуют собой значительные идейно-эстетические достижения. Таковы, например, «Сами» Н. Тихонова и «Города и годы» К. Федина, «Последний из удэге» А. Фадеева и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Мятеж» Д. Фурманова и «Труженики мира» П. Павленко, «Великое кочевье» А. Коптелова и «Голубой цветок» Л. Пасынкова, «Ветер с юга» Э. Грина и «Жень-шень» М. Пришвина, «Гидроцентраль» М. Шагинян и «Джан» А. Платонова.

Литература не только раскрывает образы передовых представителей различных народов, но и наглядно убеждает в том, что осуществление на практике тезиса о единстве и равноправии наций при социализме вовсе не означает отказа от национальных особенностей. Будучи новым человеком, передовым человеком в строительстве коммунизма или борьбе за социальное освобождение в условиях капитализма, можно — и нужно! — сохранять свою национальную неповторимость. В социальной борьбе вырабатывается качественно новое понимание патриотизма, соединяющее национальное и интернациональное чувства в прочный сплав.

Раскрытие этого положения важно не только в общефилософском плане, оно важно для читателя потому, что тот видит, как новое в жизни способствует открытию и росту творческих сил в человеке любой нации. Раскрытие этого положения полезно в ходе полемики с идеологами «общечеловеческого», «наднационального» искусства, абстрагирующегося от реальной жизни народа, сеющего недоверие между народами. Утверждение национального своеобразия в образе героя, как и в общем духе литературы, вовсе не означает национальную обособленность, напротив, лучшее понимание национальных особенностей других народов ведет к обнаружению черт сходства, росту взаимопонимания и взаимного интереса, способствует интернационалистскому воспитанию.

По определению А. В. Луначарского, «национальная основа, разумеется, останется надолго, может быть, навсегда, но интернационализм и не предполагает ведь уничтожения национальных мотивов в общечеловеческой симфонии, а лишь их богатую и свободную гармонизацию».



# Качалов у микрофона

В. АРДАМАТСКИЙ

Перебирая записные книжки первых послевоенных лет, я нашел свои записи о Василии Ивановиче Качалове, его работе на радио. В то время я был главным редактором литературно-драматических передач. Однажды в Доме звукозаписи через открытую дверь аппаратной услышал неповторимый качаловский голос. Тихо, как бы про себя, Качалов все повторял одну и ту же фразу: «Опять не выходит... опять не выходит»... Я зашел в аппаратную. Дежурный фоник, привстав со стула, смотрел в стеклянное окно на Василия Ивановича, который нервно прохаживался возле микрофона. В руках у артиста был томик Пушкина.

Включив переговорную систему, фоник сказал:

— По-моему, все было отлично!

Качалов резко оглянулся на этот голос, прозвучавший откуда-то сверху, из динамика, и сердито ответил:

— Я знаю, как было... Простите, пожалуйста... Начну еще раз... Итак, стихотворение Пушкина «...Вновь я посетил»...

Он стал перед микрофоном, запрокинул голову, закрыл глаза и начал читать... И тут же умолк, пробормотав: «Сначала... сначала»...

Фоник связался с звукооператором и попросил его писать все подряд:

— Потом выберем лучшее...

В это время Качалов снова сосредоточивался. Ему что-то мешало, он даже сделал такой жест, будто отталкивал это от себя. И, наконец, прочитав строки: «Тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных...»—он снова остановился и сказал устало:

— Стоп! Сегодня больше не буду. Не выходит...

Василий Иванович стал смущенно извиняться перед фоником за то, что заставил его зря работать:

— А кроме того, я еще был и невежлив. Простите меня бога ради. В следующий раз приду более собранным и лучше подготовленным...

Вскоре Качалов зашел ко мне.

— Измучился сам, измучил людей... Не могу правдиво произнести эти строчки...— Он помолчал и потом тихо, певучим своим, низким голосом прочитал, закрыв глаза: «Тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных»...— умолк, открыл глаза и продолжал: — Чувствуете? Есть внутри фразы противоречие: поэт был изгнанником, а всякое изгнание — это наказание. Но поэт утверждает, что два года он провел незаметно... Как же это соединить? Может быть, здесь скрыта какая-то внутренняя ирония? Может быть, она — в слове «незаметных»?..

Какой я мог быть советчик великому Качалову? Он же упорно втягивал меня в разговор, видно, хотелось ему поговорить о своих муках хоть с кем-нибудь...

Раскрыв томик Пушкина, Василий Иванович продолжал:

— Вот еще строчка, которую мне очень трудно произносить: «Уже старушки нет — уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых».— Он положил книгу на стол, встал и говорил, шагая по кабинету: — Вот слова: «уже старушки нет»... Видимо, поэт в этих словах чувствовал то, чего не чувствую я. А это мне мешает...

Спустя несколько дней Качалов записал стихотворение на пленку и снова зашел ко мне.

— Записал... Не знаю... Будете слушать...— начал он еще от дверей.— Отключаю начисто свои, субъективные, толкования слов... Минувшей ночью мне не спалось — все я возился с этими строчками. И вдруг меня точно по темени ударило: чем же это я занимаюсь? Позволяю себе судить поэта за выбор негодных мне слов?! И я спросил у себя: разве смысл строчки тебе не ясен?!. А раз ясен, то, может быть, то, что непонятно тебе, старому, просто — беспечная юность поэта, при которой и изгнанье не так страшно? В общем, записал. Послушаете...

Все мы до сих пор слушаем великолепную качаловскую запись. Но вот эти две строчки я всегда слышу как бы отдельно.

Когда снова будет передаваться запись стихотворения Пушкина, послушайте, обратите на это внимание... Может, мне теперь только так кажется...

...После истории с записью стихотворения «Вновь я посетил» и начались наши разговоры с Качаловым о художественном чтении по радио и с эстрады. Я еще раз хочу сказать, что дело было совсем не в том, что Качалов «открыл» во мне какого-то необыкновенно интересного для него собеседника. Просто мой служебный кабинет находился напротив чтецкой радиостудии, а Качалову, наверно, хотелось поговорить между записями либо после них о любимом деле...

Воспроизвожу дословно то, что однажды рассказал Качалов.

«...Я вдруг подумал, что художественное чтение — искусство для неграмотных и ленивых. Зачем учить грамоту, если можно пойти в концерт, протянуть ноги, отпустить ремешок и послушать Пушкина в прекрасном исполнении Журавлева... Эту мысль я к случаю высказал Горькому, шутя, конечно. Горький нахмурился и ответил: неграмотность—это несчастье человечества, его страшная беда, смеяться тут не над чем. Подумайте, каким великим делом для народов Африки была бы организация повсеместного громкого чтения. Громко, на их языке, читать Ленина. А? Здорово?..

А потом, позже, когда мы уже пили чай, Горький вдруг спросил у меня: знаю ли я, что многие грамотные люди не умеют читать художественную литературу? И не только стихи. «Да, да,— сказал он,— я по себе это знаю. Когда я постиг грамоту, я в книгах читал главным образом диалоги, прямую речь и то, что двигало сюжет. А пейзаж и прочие авторские ухищрения, не зацепившись, пролетали мимо меня. Прошло время, и вдруг однажды я стал все это понимать и чувствовать. И все-таки это совершенно не означает, что теперь я умею читать. Я об этом думаю каждый раз, когда слушаю ваше чтение. Вы не знаете, как я плакал, когда вы нам читали стихотворение Есенина про вашу собаку. Я же раньше сам читал это стихотворение и считал его шуткой для ваших гостей. И вдруг оказалось, что это стихотворение невозможно трагическое, и что оно — о любви... Нет, дорогой друг, ваше искусство не для неграмотных и ленивых: оно — для всех. Абсолютно для всех!..»

В благодарность за такие слова я в тот вечер читал Горькому без конца...»

...Очень хотел Качалов читать Маяковского. Очень много и трудно над ним работал... Кто-то из друзей сказал Василию Ивановичу, что Маяковский у него не получается потому, что этот поэт якобы ему попросту чужд!.. Несколько раз я выслушивал возмущение Качалова по поводу такого облыжного утверждения.

— Ну скажи он мне, что я читал Маяковского плохо, я бы не возмущался! Но сказать, что Маяковский чужд мне, какая чушь! Я слышу его стих всеми фибрами души! Да ни одному советскому актеру Маяковский не может быть чужд. Но труден для чтения он чертовски!..

Однажды Василий Иванович почти весь день проработал в радиостудии, записывая Маяковского. Фоник уже звонил мне, что есть блестящие записи, и звал послушать. Но едва только я собрался, как открылась дверь, и в кабинет вошел Качалов. Вижу — очень устал. Сел возле моего стола, снял пенсне и принялся тщательно протирать стекла платком.

— Вот что я вам скажу,— начал он.— Маяковский — это глыба. И главная его масса, как у айсберга, под водой. Одно его стихотворение дается легко, радостно, а другое — ну, ни в какую! Знаете, почему это? Каждую свою строчку поэт писал с высочайшим чувством ответственности не только за поэзию, но и за все то, чего он касался своей поэтической строкой. И только если ты понял эту его ответственность и разделил ее с ним,— стихотворение получится. Но если ты ограничил свою задачу только тем, чтобы донести до слушающего смысл строки, ты погиб! Ты плохо прочитал Маяковского!.. Вот хочу записать стихотворение о хорошем отношении к лошадям и уже работаю над ним дома. И пока я не понял, что оно не лирический отчет о происшествии на улице с упавшей лошадью, а буквально вопль к людям, чтобы они были лучше, добрее,— стихотворение у меня не получалось. А теперь у меня возник новый вопрос: да разве Маяковский мог быть радетелем абстрактной человеческой доброты?!. Черт возьми! Как все сложно, когда талантливо!..

— Вот интересно! — говорил в другой раз В. И. Качалов.— Читаю что-то дома своим гостям — получается. А приду в радиостудию, и меня точно подменили!.. У меня какое-то гипертрофированное, обостренное чувство аудитории и своей ответственности перед ней. Я ведь и в обычных концертах очень волнуюсь. И от этого частенько читаю неважно. Но я не завидую чтецам, которые уверенно выходят на эстраду и так же уверенно, но, увы, плоско читают художественное произведение... Знаете, я перестал здороваться с одним своим коллегой, который в ответ на мое замечание, что он при чтении с эстрады перепутал лер-



Фото С. Шингарева.

монтовские строфы, ответил, что публика — дура, она, как белый лист бумаги, все стерпит. Это ужасно, когда такой цинизм! Меня же мучает в общем-то не очень сложный комплекс: я наслаждаюсь, когда читаю художественное произведение, но всегда страшусь, спрашивая себя: а испытывает ли аудитория наслаждение? В этом смысле радиоаудитория для меня нечто вроде Млечного Пути — так же громадна и так же непостижима в своей громадности... Это же миллионы и миллионы самых разных людей: и вожди и темные крестьяне,— подумать только: все они вместе в этом фантастическом зале!.. И я восхищаюсь тем, как уверенно ведут себя в радиостудии дикторы. Боюсь только—вдруг эта уверенность у них от цинизма, самоуверенности. От полного отсутствия ощущения аудитории: мол, я твердо произношу каждое слово, я уверенно вещаю текст, а уж как там люди — слушают или не слушают — это, в общем, меня волнует мало!.. Если у какого-нибудь радиодиктора вдруг образуется такая «позиция», он больше не имеет права работать!

Особо сложное и ответственное дело,— продолжал Василий Иванович,— художественное чтение по радио. На концертной эстраде я иногда чувствую себя голым. Стоишь перед залом один, как перст: ни декораций, ни костюма, ни музыки, ничего нет тебе в помощь. Стоишь так, и вся твоя сила — слово. А в радиостудии я чувствую себя не только голым, но еще и слепым! Мало того — глухим!.. Ничего не вижу, кроме скворечника микрофона перед носом. Голоса своего не слышу, не чувствую... И ко всему этому ощущаю себя до ужаса одиноким. А в то же время умом сознаю, что сейчас ко мне прислушиваются миллионы людей, что между мной и ими тончайшая нить связи — слово... Нить тонкая и хрупкая, как хрусталь. Чуть сфальшивил — нить оборвалась. А я сейчас, записывая Маяковского, столько нафальшивил, столько нафальшивил — ужас!..

— Ну что вы, Василий Иванович, перед вашим приходом звонил фоник. Сказал, что читали прекрасно!..— Я пытаюсь успокоить Качалова, но он злится, барабанит пальцами по столу, молчит.

— Фоники ваши не критерий,— говорит наконец он.— Им главное, чтоб мой голос на каком-то приборе откачнул какую-то стрелку до какой-то цифры. Им дай технически исправную громкость звука — они и довольны.

— Напрасно вы так думаете,— возражаю я.— Наши фоники — люди, как правило, с высшим художественным образованием и с большим вкусом.

— Да? — Качалов иронически смотрит на меня.— А почему же тогда они не выключают микрофон и не выгоняют из студии артистов, которые читают, как пономари... Мы, артисты, народ в общем-то безответственный, нас надо воспитывать — я серьезно говорю, не смейтесь...

— А как вы относитесь к чтению Дмитрия Николаевича Журавлева?

— Вот, вот! — обрадовался Качалов.— Очень хорошо, что вы вспомнили именно о нем! Он великолепно читает даже в самом маленьком концерте. У него чертовски развито чувство ответственности за слово. И это особенно явственно чувствуешь, когда слушаешь его по радио. Причем вы помните — у Журавлева далеко не совершенный голосовой аппарат: у него что-то шипит, что-то надтреснуто, но вы ничего не замечаете!.. Это результат огромного труда, пронизанного великим чувством ответственности артиста за каждое слово, произносимое по радио...

А знаете, кто был талантом, рожденным специально для радио? — вдруг спросил Качалов.— Покойный Владимир Яхонтов. В открытых концертах я его воспринимал хуже: мне мешало его действие на сцене, не всегда точное... Мы во МХАТе стремимся к очень точному действию, а жесты Яхонтова казались мне иногда дисгармоничными, это мне мешало. А вот по радио дивная музыка слова оставалась у него в чистом виде. Именно — чистота. Каждое слово у него было чистое, как родник. Особенностью таланта Яхонтова и было необыкновенное чувство слова...

— Радио,— говорил Качалов,— прелестно и фантастично прежде всего своей возможностью донести до миллионов людей подлинный, чистый звук человеческого голоса или музыки.

В свое время был выдуман термин «радиоискусство». Его выдумали или самоослепленные энтузиасты радио, или трюкачи от искусства. Похоже все-таки, что вторые. Ибо в тех передачах, которые и выдавались за эталоны «радиоискусства», не было и в помине наилучшего звучания слова или музыки. Они так и оставались чисто техническим трюкачеством. Наиболее опасным оно становилось в тех случаях, когда его жертвой оказывалась наша святая литературная классика. Например, однажды в радиотрансляцию чеховского спектакля из МХАТа ввели новый персонаж: «радиосвидетеля», который вмешивался со своими комментариями в ткань чеховской драматургии, нарушая ткань чеховского слова, чеховских чувств. Это было ужасно...

— А радиоцирк Осипа Наумовича Абдулова? — напомнил я Качалову.

— Я слушал только одну передачу,— ответил он.— Но это была самая обыкновенная, старенькая, как мир, буффонада, только переданная по радио. Я говорил об этом с Осипом Наумовичем. Он где-то написал, что это, мол, и есть радиоискусство. Но когда мы с ним разговаривали, он довольно легко согласился со мной, что все-таки это старенькая буффонада, а никакое не «радиоискусство»... Абдулов был настоящий большой артист, поэтому настаивать на термине «радиоискусство» он не мог...

Искусство — это и чрезвычайно сложно и чрезвычайно просто,— продолжал Качалов.— Если говорить просто, то искусство — это всегда наслаждение... Кубизм в живописи тоже было назвали новым искусством. Но ведь это «новое» не вытеснило старого Репина. Более того, где они ныне, те кубисты?!. А наслаждение людям доставлял и доставляет Репин!.. Сергей Образцов с мертвыми куклами делает живое искусство, а Быков со своим театром масок канул в Лету, хотя на сцене у него действовали живые артисты. Нововведение его умозрительно выглядело и построенным и доказанным, как алгебраическая формула. Но стрелял он мимо главного призвания искусства — служить человеческой душе...

Первые годы после революции я был несколько фраппирован легкостью, с какой у нас рождались всяческие «искусства», но потом понял: это похоже на обязательную для детей скарлатину. Советское искусство тогда было ребенком, и болело оно всем тем, чем положено болеть детям. Не скарлатина — так корь, не корь — так скарлатина... Мудрость советской политики в искусстве обнаружилась позднее: искусству дали переболеть, а потом поддержали в нем все здоровое, дали ему возможность крепнуть с каждым днем... Я не любитель политической фразеологии, но факт — и я думаю теперь об этом все чаще,— в нашей советской, единственной на земле стране подлинное искусство растит само государство, сама государственная власть. И именно поэтому вы, работающие на радио, должны охранять свое общенародное дело и от всяческих детских болезней и от ловких людишек, которые хотят компенсировать отсутствующий у них талант или трудолюбие умозрительными штучками и техническими трюками во вред миллионам радиослушателей, жаждущих настоящего искусства...

Я напомнил Качалову о том, что говорил Мейерхольд,— а он как-то выразился, что радио напоминает ему не открытую еще планету; когда ее откроют, там обнаружат нечто такое, чего люди искусства еще никогда не знали...

Качалов засмеялся:

— Мейерхольд умел бросить фразу! Но сам-то он, я уверен, со временем отказался бы от зеленых париков!.. Ибо зеленый парик — всегда лишь трюк, а Всеволод Эмильевич — подлинный талант. Совершить ошибку, выкрикнуть фальшивую ноту талант может, но все же в конце концов истинный талант приходит к истинному искусству, в котором главное всегда — познание и совершенствование человеческой души...

**В. С. КЕМЕНОВ,**
**вице-президент**
**Академии художеств СССР**



# Диего Веласкес

XVII столетие. Оно подарило миру Рембрандта, Рубенса, Пуссена, Риберу, Вермеера, Ван Дейка, Хальса. Но среди этого блистательного созвездия имя Веласкеса сияет звездой первой величины.

Многое из наиболее значительных достижений европейской живописи в последующие века вплоть до нашего столетия будет иметь своим истоком созданное, открытое, угаданное Веласкесом.

В портретах Веласкеса живопись достигает поразительной глубины в своем проникновении во внутренний мир человека. С полотен Веласкеса на нас смотрят живые люди его времени со всеми их особыми чертами, достоинствами и недостатками, красотой и уродством.

Его «Сдача Бреды» предвосхищает историческую живопись XIX века — полотна Делакруа, Сурикова. Его «Менины» повлияли на создание картин бытового жанра не только у малых голландцев, но и в реалистической живописи XIX столетия. А «Пряхи» явились в истории мирового изобразительного искусства первой картиной, воспевшей и утвердившей высокую поэзию и красоту труда. И каждая из этих картин не первые робкие шаги в выработке названных жанров, а вершина искусства, шедевр, изумляющий мастерством и в совершеннейшей форме выразивший сложное, неисчерпаемо глубокое философско-эстетическое содержание...

В краткой статье невозможно охватить многогранное творчество Веласкеса. Остановлюсь на нескольких его произведениях, репродуцированных в этом номере «Огонька», и попытаюсь их сжато прокомментировать. Читатели, которые заинтересуются более подробными сведениями и аргументацией, найдут их в недавно вышедшей моей книге «Картины Веласкеса».

Автопортрет Веласкеса, воспроизведенный на цветной вкладке, является фрагментом знаменитой картины «Менины». В одной из дворцовых зал, стены которой увешаны картинами, Веласкес пишет портрет королевской четы, смутное отражение которой видно в настенном зеркале. Рядом маленькая инфанта Маргарита с ее юными фрейлинами («менинами») и карликами. Соотношение задач парадного королевского портрета с окружающей художника живой жизнью; отношение между написанными картинами и как будто бы реальными людьми, стоящими рядом с ними, проблемы пространства и свето-воздушной среды, изображение в картине самого процесса создания картины, задачи и возможности искусства живописи, как бы вступающей в соревнование с самой реальной действительностью,— вот круг вопросов, блистательно решенных Веласкесом в этой картине, в которой справедливо видят своего рода «философию живописи».

В е л а с к е с. Вот он стоит у мольберта с палитрой и кистью в руках — черные усы, темные мягкие кудри, падающие на плечи. На нем простой костюм. На груди алеет знак рыцарского ордена Сант-Яго.

Чуть откинув голову, художник пристально всматривается в натуру. Ни тени придворной почтительности, тем паче подобострастия. Фигура художника чуть отклонена назад, ноги широко расставлены, поза уверенная, свободная, независимая. Но ведь Веласкес — сын Испании, где все, начиная с гранда и кончая бедным пастухом, считают себя потомками героической и благородной реконкисты и исполнены чувства достоинства.

Родился великий художник в Севилье, которая в то время была центром экономической и художественной жизни Испании, в небогатой семье идальго Хуана Родригеса де Сильва-и-Родригес, выходца из Португалии; 6 июня 1599 года младенца крестили в церкви Сан Педро и нарекли Диего. Сделавшись художником, Диего примет фамилию матери — Херонимы Веласкес де Буен Ростро-и-Сайас, родом севильянки...

Хуан Родригес, рано заметив склонность сына к живописи, отдал одиннадцатилетнего Диего учиться к жившему в Севилье мастеру Франсиско Эррере-старшему. Но бурный темперамент и неуживчивый характер этого учителя выдержал Диего меньше года. И в 1613 году он уже ученик Франсиско Пачеко—живописца, поэта, теоретика искусства, образованнейшего человека своего времени, в чьем доме бывали Сервантес, Кеведо.

Пачеко сразу высоко оценил Веласкеса и твердо поверил в его талант. А сам Веласкес многое приобрел от учителя как в овладении методом живописи, так и в общем развитии. Когда было завершено предусмотренное контрактом обучение, 14 марта 1617 года Веласкес сдал экзамен на диплом живописца, а 23 апреля 1618 года состоялась свадьба Диего Веласкеса и юной Хуаны, дочери Франсиско Пачеко.

Начав самостоятельную творческую жизнь, Веласкес много писал: портреты, религиозные композиции по церковным заказам и особенно охотно «бодегоны». Так именовались получившие свое название от испанского слова «bodegon» — трактир небольшие жанровые полотна, в которых два-три человека изображены в помещении кухни или харчевни и где большую роль играет натюрморт: кухонная утварь, посуда, съестные припасы. Именно в бодегонах (быть может, чувствуя, что эти живые сценки больше всего способны ему помочь не поддаться характерной для провинциальных церковных заказов рутине громоздких композиций с надуманными аллегорическими фигурами святых) юный Веласкес самостоятельно ставит и блестяще решает сложные задачи живописного мастерства.

В ленинградском Эрмитаже находится один из первых бодегонов Веласкеса, «Завтрак». Изображенная сценка происходит, по-видимому, в харчевне, куда старик с мальчиками зашли позавтракать. Старик только что снял свою шляпу и шпагу, отвязал белый воротник и повесил их тут же у стола на стене. На пришельцах скромная одежда из толстого, грубого сукна, белые холщовые воротники. На столе, покрытом скатертью, минимум посуды — стеклянный стакан, фаянсовая миска, простой ножик. Так же умеренна и скромна пища: несколько рыбешек, небольшой хлебец да два граната. По обычаю страны, к завтраку подают немного вина, и круглое лицо мальчика, поднявшего графин с вином, расплылось в довольной улыбке, обращенной к зрителям. Более сдержанно ведет себя юноша. По тому, с какой любовью и тщательностью написан каждый предмет на столе, каждая складка на скатерти и одеждах, видно отношение художника к его простым, бедно, но опрятно одетым персонажам. Веласкес ценит их чувство собственного достоинства, их умение довольствоваться немногим, искренне радоваться скромному достатку.

Таков народный быт Испании XVII века, и таким его показал художник.

Веласкесу еще не удается в чертах лица героев передать эмоциональную подвижность: выражение лица юноши пришлось пояснять жестом, смеющееся лицо мальчика получилось несколько застылым. Участие цвета в лепке объемных форм, взаимоотношение теней и рефлексов, которые уже через несколько лет будут изумлять современников в полотнах Веласкеса, тоже пока еще не использованы здесь. Однако, заметив, что стеклянный стакан с золотистым вином отбрасывает на скатерть не плотную, а полупрозрачную тень, имеющую в середине желтый отсвет, художник так и написал эту тень в картине. Интересно, что такой же прием есть и у оказавшего на молодого Веласкеса известное влияние итальянца Караваджо — прославленного творца «тенебросо»: живописи контрастных теней, когда изображаемый предмет помещался в полутемной мастерской перед пучком световых лучей, падающих с одной стороны, сверху, чем создавались резкие переходы светотени, подчеркивалась пластичность модели и усиливалась напряженность изображения. Веласкес уже с первых своих бодегонов самостоятельно начал искать путь от «тенебросо» к колориту, включающему прозрачные тени и цветные рефлексы, от использования искусственного освещения в картине к торжеству пленера, свето-воздушной среды.

**Диего де Сильва Веласкес.** 1599—1660. АВТОПОРТРЕТ. ДЕТАЛЬ КАРТИНЫ «МЕНИНЫ». 1656.

Мадрид. Прадо.



**Диего де Сильва Веласкес.** КУЗНИЦА ВУЛКАНА. 1630. Мадрид. Прадо.



**Диего де Сильва Веласкес.** ПОРТРЕТ ИНФАНТЫ МАРГАРИТЫ. 1659.

Киевский государственный музей западного и восточного искусства.

**Диего де Сильва Веласкес.** ПРЯХИ. 1657.

Мадрид. Прадо.





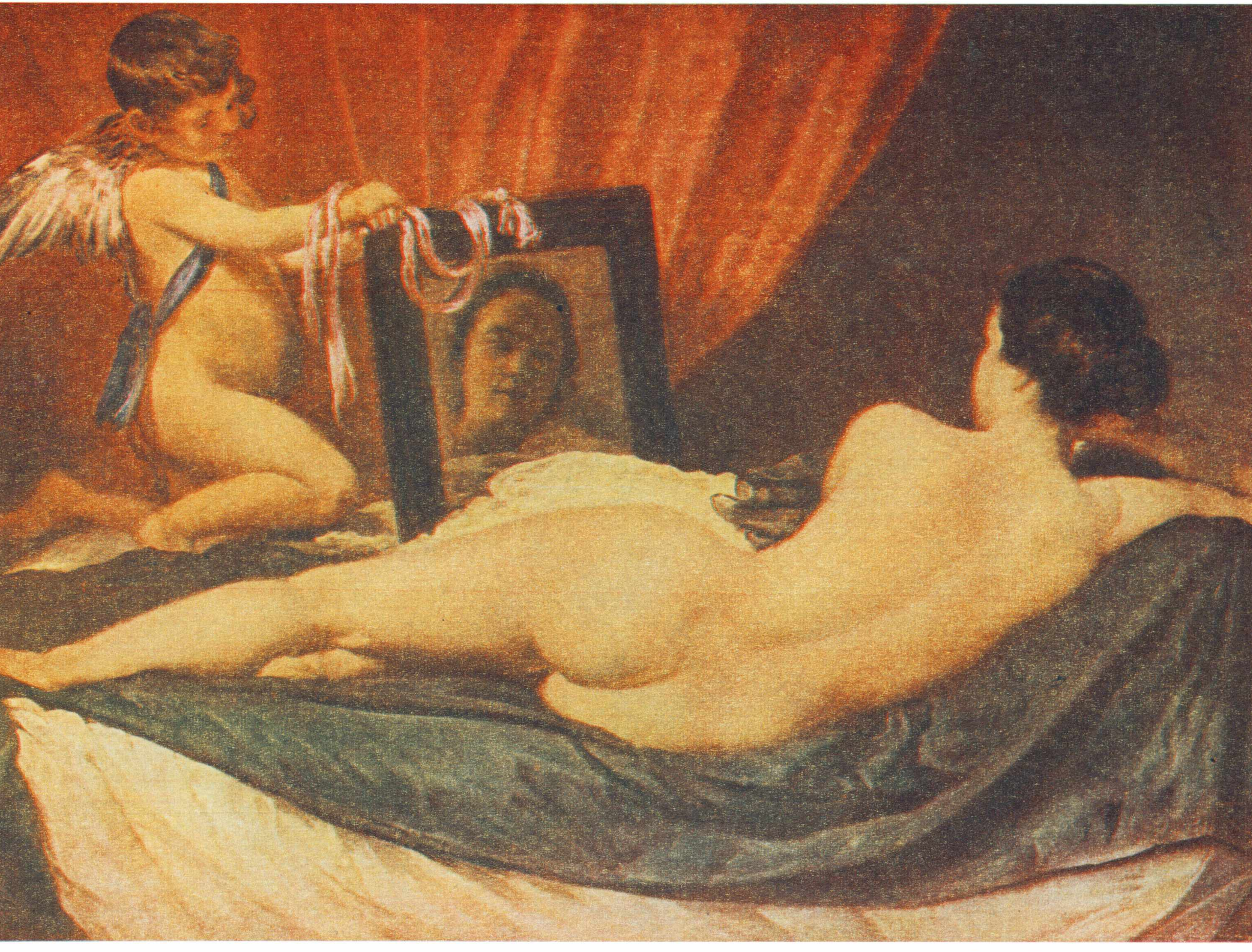


62

**Диего де Сильва Веласкес.** ПОРТРЕТ ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ X. 1650. Рим. Галерея Дориа.



**Диего де Сильва Веласкес.** СДАЧА БРЕДЫ. 1633—1634. Мадрид. Прадо.



**Диего де Сильва Веласкес.** ВЕНЕРА С ЗЕРКАЛОМ. Ок. 1651. Лондон. Национальная галерея.

Пройдет немного лет, и из-под кисти Веласкеса явится творение, в котором красота колорита заспорит с живым дыханием просторов земли, глубина и завершенность художественного образа отразят глубину понимания художником смысла истории. Творение, в котором Веласкес предстанет перед миром во всей мощи своего гения.

«Сдача Бреды». Полотно было написано мастером сразу же после первой его поездки в Италию, где он изучал искусство великих мастеров Возрождения. Выполнена картина была по заказу графа-герцога Оливареса, фаворита Филиппа IV, для украшения сооруженного им в подарок королю загородного дворца Буен Ретиро. В центральном зале дворца — «Зале королевств» Оливарес намеревался увековечить в серии исторических картин победы испанского оружия, главным образом с момента воцарения Филиппа IV, среди которых взятие испанскими войсками, руководимыми генералом Спинолой, голландской крепости Бреда 2 июня 1625 года было самой блестящей. Фанфарным прославлением этих побед Оливарес намеревался прежде всего прославить свое управление страной, оправдать свою политику военных авантюр.

Но не раз придется земным владыкам обмануться в честолюбивых своих ожиданиях, когда прославлять их станет Веласкес — художник, ни единожды не погрешивший против Истины!

Веласкес пишет не полуаллегорию во славу Оливареса и Филиппа IV, как это делали другие художники, принимавшие участие в украшении «Зала королевств», а произведение, которое прокладывает для будущей живописи путь к совершенно иному подходу к истории, нежели панегирически-парадные инсценировки торжественных и батальных картин, весьма распространенных в живописи XVII и XVIII веков.

Спинола был не только талантливый полководец, но и проницательный политик, он знал, что казна Испании истощена и на продолжение войны нет средств, он реально оценивал экономический и моральный потенциал голландцев. И когда после почти годичной осады гарнизона Бреды, насчитывавшего 7 тысяч человек, тридцатитысячной армией испанцев и их наемников голландцы решили сдать крепость, потребовав почетных условий капитуляции, Спинола тотчас же дал согласие.

Сюжетом картины является кульминационный момент передачи ключей от крепости голландским полководцем Юстино Нассау главе армии испанцев генералу маркизу Амбросио Спиноле. Спинола своим обхождением с побежденным противником во время этой передачи нарушил все установленные традиции испанской королевской армии: он спешился и опустил фельдмаршальский жезл! А Веласкес, запечатлев это на холсте, нарушил все традиции испанской батальной живописи.

Как случилось, что у молодого Веласкеса, придворного королевского живописца, далекого от занятий политикой, сложилось непредвзятое мнение об испано-голландской войне и верное понимание соотношения борющихся исторических сил?

В 1628 году Мадрид посетил Рубенс. Великий фламандский художник не только писал портреты Спинолы — советника правительницы Фландрии, но и был его другом. Надо думать, что Рубенс во время дружеского общения с Веласкесом делился с ним мыслями о необходимости мира, рассказывал о политической дальновидности генерала Спинолы. Благодаря ходатайству Рубенса перед Филиппом IV осуществилась мечта художника посетить Италию. Веласкес был включен в число лиц, едущих с эскадрой Спинолы, направленного королем возглавить испанское войско в Италии. И тут художник мог от самого полководца услышать множество фактических подробностей о войне и узнать и оценить те мотивы, которыми тот руководствовался в своем обращении с голландцами в момент сдачи крепости Бреда.

Поглядим на само полотно. Веласкес-реалист взял точные приметы местности, которые уже включала живопись XVII столетия, но он отбросил ее картографичность и добавил воспринятую у мастеров Возрождения эмоциональность очеловеченной природы, подчеркивающей настроение картины, слив все это в единый, невиданной мощи и глубины художественный образ.

Встреча испанцев и голландцев изображена на переднем плане картины, на вершине холма. Благодаря этому второй план пространства не виден зрителям, и взгляд их одним скачком переносится в глубь полотна, где внизу, в отдалении, открывается грандиозная панорама. До самого горизонта простирается залитая утренним светом бескрайняя равнина с еще полыхающей пожарами крепостью Бреда в центре и затопленными полями (это осажденные закрыли шлюзы на реке и затопили прилегающую местность, занятую испанцами). Вся эта изумительная панорама написана так, что зритель словно чувствует, как грохот и дым канонады сменились тишиной и прозрачностью утреннего воздуха, серебристая дымка которого смягчает серо-зеленоватые и голубые тона пейзажа.

Но главное — это две группы голландцев и испанцев на переднем плане. Веласкес показывает глубокое отличие этих двух групп, раскрывая в них не только национальное своеобразие, но и разницу социального состава двух армий. Выразительно сопоставлены здесь характеры и настроения противников. Вот справа молодой испанский идальго в сером плаще с дорогим кружевным воротником и в светлой серой шляпе с белым страусовым пером, красиво обрамляющей его лицо с тщательно расчесанными локонами и закрученными усами. Слева — голландский парень с широким загорелым лицом, простолюдин, в мешковатой грубой одежде (голубой с зеленоватым оттенком) с простым полотняным белым воротником и в поношенной коричневой шляпе, нахлобученной на спутанные пряди волос. Взгляды обоих молодых воинов устремлены прямо на зрителей; каждый как бы приглашает разделить его мысли и чувства. Во взгляде испанского офицера нет никакого бахвальства, но за сдержанностью и внешней бесстрастностью испанского «сосьего» — невозмутимой, сдержанной манеры держаться чувствуется гордость этой победой, достигнутой столь тяжелой ценой.

В глазах голландского солдата можно прочесть удивление: он словно все еще не может понять, как могло произойти, что, несмотря на беспримерное мужество защитников Бреды, крепость все же пришлось сдать испанцам, и не может примириться с этим.

В образах голландцев выражена сила и несломленный дух сопротивления голландской армии. И именно за этими фигурами на фоне картины яростнее всего бушует неутихающее пламя пожара...

Трактовка Веласкеса оказалась, как мы знаем, пророческой. Победа испанцев оказалась временной и не означала решения войны в пользу Испании. 10 октября 1637 года крепость снова была отвоевана голландцами, на этот раз уже окончательно.

На должность королевского живописца Диего де Сильва Веласкес был назначен 1 октября 1623 года, вскоре после вступления на престол Филиппа IV и возвышения его фаворита Оливареса, связанного с Севильей, что и повлекло в Мадрид многих севильянцев. В этой должности великий художник оставался в течение тридцати шести лет.

Исполняя обязанности королевского живописца, Веласкес множество раз писал Филиппа IV, членов королевской фамилии, герцога Оливареса, придворных, никогда не льстя своим знатным моделям. Художник неизменно проникает за маску аристократической сдержанности и невозмутимости, предписываемых испанским «сосьего», что, казалось бы, наглухо скрывала от посторонних глаз внутренний мир августейших портретируемых.

Среди многих исполненных Веласкесом несравненной правдивости портретов есть один, в котором сила веласкесовской проницательности словно бы сродни рентгеновским лучам и при создании которого явили себя в максимальной мощи особенности Веласкеса — живописца, психолога, мыслителя, историка, колориста.

Это портрет папы Иннокентия X, написанный художником во время второй его поездки в Италию, куда приехал он на этот раз уже не учеником, а прославленным мастером.

В лучших портретах XVII столетия — портретах Рубенса, Хальса и, конечно, Рембрандта — проявляется стремление авторов не только верно запечатлеть типические черты характера модели и ее эмоциональное состояние в данный момент, но и передать само внутреннее психическое движение образа как некий непрерывно свершающийся процесс. Этот вид портрета получил в искусствоведческой литературе название «портрета-биографии». Но если у Рембрандта такие портреты носят несколько отвлеченно-философский, общечеловеческий характер, то веласкесовский «Иннокентий X» поражает своей исторической конкретностью и силой социального обобщения. Это портрет-биография в смысле более глубоком, чем изображение только личной жизни папы Памфили.

Иннокентий вступил на папский престол в период, когда римская католическая церковь испытывала большие трудности. После Ренессанса с его гуманистическим свободомыслием в ряде европейских стран возникла борьба за национальную независимость, против подчинения Ватикану. Стремясь сохранить духовную диктатуру католической церкви, Ватикан осуществляет контрреформацию, разжигает фанатизм против «еретиков» в религиозных войнах XVII столетия. Однако реальное соотношение сил приводит к заключению Вестфальского мирного договора, который при всех своих недостатках положил конец разорительной Тридцатилетней войне и узаконил веротерпимость. Но именно поэтому папа Иннокентий был яростным и упрямым противником Вестфальского договора, принимал все меры, чтобы сорвать его подписание. И когда, несмотря на все его протесты и угрозы, мир все-таки был заключен, это явилось провалом политики Иннокентия и вызвало его раздражение и озлобленность.

Применяемые им методы управления папства вызвали большое возмущение. Правление Иннокентия X было фактически правлением «папессы Олимпии», как прозвали в народе фаворитку папы, его золовку Олимпию Майдалькини. Историки папства пишут, что она продавала шляпы кардиналов, патриаршества, архиепископства, епископства. Должности получал те, кто больше даст; она побуждала Иннокентия к хищениям церковного имущества, заставив его издать буллу о закрытии маленьких монастырей и о передаче их имущества папе, она, используя власть папы в Римской области, злостно спекулировала на хлебе и на всем этом заработала много миллионов римских экю.

Иннокентий настолько предоставил Олимпии быть хозяйкой всех дел церкви, что она присутствовала на папских приемах, аудиенциях и т. д., для приличия помещаясь за занавесом, висящим у папского трона. Об этом все знали. (Не потому ли на веласкесовском портрете так странно выпирает вперед занавес, вплотную прижатый к левому подлокотнику кресла Иннокентия?)

Площадь Навоне перед фамильным дворцом, где жила Олимпия, папа щедро украсил пышными фонтанами с гербами Памфили. Но окна заднего фасада этого дворца выходили на маленькую площадь Пасквино, где, по народному обычаю, у статуи «мэтра Пасквино» римляне вывешивали свои «пасквинады» — сатирические рисунки и карикатуры, высмеивающие папу Памфили и его золовку. Не нужно было выходить на улицу, чтобы услышать взрывы хохота и язвительные остроты.

Портрет писался в 1650 году — это был особый, юбилейный год римской церкви, который отмечался с особой пышностью.

Свой портрет Иннокентий X сам заказал Веласкесу — придворному художнику «Двора Его католического Величества» — короля Испании, рассчитывая, что это изображение прославит главу римской церкви. Расчет был бы правильным, если бы этим живописцем не оказался Веласкес.

Портрет поражает совершенством живописи; он передает величие сана, масштабность образа, достоинство, с каким держится глава Ватикана. Но трудно держаться с величием и достоинством святого, когда душу снедают совершенно противоположные страсти.

Вся торжественность осанки, вся гармония красок в изображении одежды папы и предметов, составляющих обстановку его, в этом портрете, превосходном по красоте, изысканности и благородству колористических отношений, служат лишь великолепной оправой, подготовляющей зрителя к самому главному — к восприятию лица человека, выступающего в роли верховного пастыря. Но тщетно стали бы мы ис-

кать на этом лице хоть отдаленный намек на возвышенное благочестие или на чувство любви к ближнему — отталкивающий облик и подстерегающий, почти зловещий взгляд веласкесовского Иннокентия X напоминает скорее взгляд волка, чем наместника Христа на земле.

Глядит папа исподлобья, подозрительно на удостоенного аудиенции приближающегося к нему верующего. И в сложное содержание этого взгляда, отражающего крутой нрав, хитрую, властную натуру, недюжинный ум, проницательность, волю, энергию, скрытность, Веласкес сумел включить еще и немой вопрос, всегда внутренне беспокоивший папу во время и торжественных и доверительных аудиенций: заметил ли посетитель несоответствие, чудовищную, душераздирающую раздвоенность между величественной осанкой его святейшества и скрыто отравляющими его душу неуверенностью, страхом и озлобленностью?

Веласкес заметил.

И у Иннокентия X были все основания, принимая от художника в дар свой портрет, хмуро сказать: «Слишком правдиво!»

Говорят, что из всех своих многочисленных царственных моделей Веласкес особенно любил писать инфанту Маргариту — младшую дочь Филиппа IV. Видимо, создание изображений очаровательной белокурой девочки, которая, словно солнечный зайчик, оживляла мрачную обстановку дворца Алкасара, отвлекало «гофмаршала и королевского живописца» от скучной обязанности писать бесконечные портреты дряхлеющего Филиппа IV и его надменной сонливой супруги королевы Марианны. Верно, потому Веласкес не только создал за недолгий срок несколько портретов белокурой инфанты в разных возрастах, но еще и сделал именно Маргариту центром сцены, изображенной в картине «Менины» — этом гимне, словно спетом живописью себе самой!

На портрете Киевского музея, воспроизведенном на цветной вкладке, инфанте Маргарите около восьми лет. И здесь перед нами одно из тех изображений Веласкесом его любимой и прелестнейшей модели, с которыми немногие из созданных им как придворным живописцем портретов могут сравниться в волшебстве текучих, изменчивых в потоке света, изысканно-прекрасных тонов, в подлинной поэзии живописи. В Мадриде в музее Прадо находится большой портрет, где Маргарита, одетая в платье для парадных церемоний — «гвардаинфанту», изображена во весь рост. Веласкес не закончил мадридский портрет; голову инфанты дописал его ученик Масо, и она заметно уступает живописи всей фигуры. Киевский портрет является поясным изображением Маргариты, видимо, подготовленным Веласкесом для мадридского парадного портрета.

Но и в этом как бы фрагменте, где нам не виден огромный до утрирования тогдашней придворной испанской моды кринолин, чувствуется курьезное несоответствие возраста девочки и торжественной важности ее одежды. Несоответствие это и вносит трогательную усмешку в веласкесовскую трактовку образа Маргариты. В антураже и приемах монументального придворного портрета, в тщательно продуманном парадном одеянии, в застывшей торжественной позе будущей императрицы Веласкес изобразил хрупкую, бледненькую восьмилетнюю девочку с тонкой шеей, плоской грудью, худыми плечиками и детским взглядом. В этом взгляде и улыбке есть некоторая напряженность (носить сшитую из тяжелой парчи «гвардаинфанту», с ее тугим корсажем, сохраняя выправку и изящество, было нелегко), но вместе с тем и естественное, понятное удовольствие девочки, любующейся красивым, нарядным «взрослым» платьем.

Так же тонко осуществлено здесь художником и единство цветового строя лица и одежды инфанты. Это единство поддержано общностью свето-воздушной среды, в условиях которой образуется сложная система рефлексов на лице и открытой шее инфанты. Веласкес своим изощренным глазом гениального колориста увидел, что на голову и лицо девочки рефлекс отбрасывает не только рядом находящийся воротник и сиреневые ленты рукавов, но и самый скос ее широкого серо-розового кринолина. Более того, может показаться невероятным, но в передаче нежнейших нюансов бледного лица инфанты, которое лишь с первого взгляда кажется написанным одним ровным светлым тоном, участвуют все те же самые краски, которыми были написаны и ее наиболее яркие украшения и парчовое платье, только взяты они здесь в крайне ослабленной цветосиле. Благодаря этому голова Маргариты, ее фигура, платье обрели редкое колористическое единство и цельность живописного образа.

Нестеров говорил, что киевская «Инфанта» Веласкеса сделала бы честь и самому Эрмитажу: «Рядом с ней, с великим искусством ее гениального автора все кругом меркнет, как перед бриллиантом чистой воды — оконные стекла».

К чему бы ни обращался в своем творчестве этот несравненный мастер, все он решал по-своему, наново, так, как никто до него не умел, не смел помыслить.

В европейской живописи XVII века греко-римская мифология служила неисчерпаемым источником «высоких» сюжетов. На мифологии основывалось как искусство классицизма, так и господствовавшее в Европе ложно-идеализирующее направление академизма. Одна из форм демократической борьбы в искусстве XVII века состояла в стремлении художников «опрозаичить» мифологические сюжеты, ввести в картины предметы бытовой среды и простонародные человеческие типы. В результате боги Олимпа оказывались сведенными на грешную землю и были наделены характерами и даже недостатками и слабостями простых смертных. В таком духе написаны Веласкесом картины «Триумф Вакха» и «Кузница Вулкана». Однако была и другая форма борьбы с условностью классицизма и академизма. Она состояла в стремлении художника в самых простых людях увидеть черты, напоминающие героев и богов Олимпа, и тем самым поднять человеческую личность до уровня классического идеала путем обобщенного выражения подлинной красоты, одухотворенности и благородства реальных людей. Таковы картины Веласкеса «Венера с зеркалом» и «Пряхи».

«Кузница Вулкана», написанная им в 1630 году, во время первой поездки в Италию, является не только важным шагом в передаче художником свето-воздушной среды, но и смелой, самостоятельной трактовкой античной мифологии. Сюжет картины взят из овидиевых «Метаморфоз» и повествует о том, как бог Солнца Аполлон явился к Вулкану, чтобы сообщить ему об измене жены — Венеры. Веласкес переносит действие в интерьер испанской кузницы с горном и наковальней, пишет Вулкана и его помощников, изготовляющих доспехи, потрясенными услышанной вестью. Симпатии художника целиком на стороне закопченного, мускулистого кузнеца Вулкана. И, напротив, в трактовке Аполлона Веласкес идет явно вразрез с установившимися традициями идеализации бога Солнца, изображая скорее изнеженного повесу. Ведь и у Овидия Аполлон озабочен отнюдь не супружеской честью Вулкана, а мстит за собственную неудачу в ухаживании за его женой — Венерой.

...Много позже создает Веласкес свою «Венеру с зеркалом», сделав прообразом богини красоты простую, обаятельную испанскую девушку. Это одно из высших достижений художника, тем более разительное, что Веласкес не мог опереться в решении этой задачи на какие-либо национальные традиции: изображение обнаженного женского тела было запрещено испанским художникам и строго преследовалось инквизицией. Примером Веласкесу могли служить лишь античные мастера и художники Возрождения, но не подражание их произведениям, а глубокое усвоение смысла их исканий помогло ему создать свой, национальный тип красоты. Ведь и для греков прообразами богини были также живые девушки Эллады.

И, наконец, в последние годы жизни Веласкес в картине «Пряхи» снова обращается к античному мифу, чтобы высказать всю жизнь его волновавшее неколебимое убеждение в том, что наивысшей красотой, поэзией, ценностью на земле является поэзия и красота труда и что труд, творчество, искусство есть высочайшее из достоинств человека, способное сделать его равным бессмертным богам Олимпа.

Еще в «Менинах» на задней стене зала смутно виднеются две картины на мифологические сюжеты, повествующие, как жестоко были наказаны простые смертные, дерзнувшие соревноваться с богами в художественном творчестве: Аполлон, сдирающий кожу с Марсия,— картина Иорданса, и Афина, наносящая удар Арахне,— Рубенса. Этот последний сюжет послужил толчком к созданию шедевра Веласкеса «Пряхи» («Фабула об Арахне») — картины, которая по философской глубине и совершенству живописи является венцом творений гениального художника. Простая мэонийская ткачиха Арахна вызвала Афину Палладу на соревнование в ковроткачестве и, создав изумительный гобелен на тему «Похищение Европы», победила саму богиню — покровительницу искусств! Разгневанная Афина ударила Арахну, которая, не стерпев обиды, удавилась в петле. Но Афина вернула ей жизнь, превратив в паука, и обрекла Арахну и ее потомков всю жизнь ткать паутину и виснуть на ее нитях.

Картина «Пряхи» имеет два четко противопоставленных друг другу плана. На первом плане — помещение ковровой мастерской Санта Исабель, где изготовлялись и особенно реставрировались ценные ковры королевской коллекции. Здесь в темноте и духоте работают бедно одетые пряхи. В глубине, двумя ступеньками выше, залитая светом небольшая комната, напоминающая сцену. На ее стене висит красивый гобелен, залитый лучами солнечного света и переливающийся голубыми, розовыми и желто-золотистыми тонами. На нем вытканы разгневанная Афина и ее победительница Арахна, стоящая у своего ковра «Похищение Европы». (Как высоко ставил Веласкес труд Арахны, видно по тому, что ее ковер есть вытканное изображение одноименной картины Тициана, столь любимого Веласкесом.) Перед гобеленом находятся несколько нарядных дам и музыкальный инструмент виола да гамба. Как известно, при оформлении придворных спектаклей гобелены часто использовались в качестве декораций, а роли исполнялись придворными, иногда фрейлинами. Устроенное в ковровой мастерской подобие сценической площадки, видимо, использовалось для подбора подходящих гобеленов, пробных репетиций под музыку и т. д., что и объясняет неожиданное соседство нарядных придворных дам и бедных, босоногих ткачих.

Изобразив мадридских прях в темном помещении, Веласкес словно хочет сказать, что участь прях ничем не легче понесенного их далекой сестрой Арахной наказания. Но художник преодолевает прозаизм будничной обстановки, извлекая из сумеречного освещения мастерской возможности для тончайшей гармонизации цветовых отношений и оттенков. Он делает невероятное: воссоздает самый воздух ткацкой комнаты так, что в «атмосфере чувствуется игра пылинок»! С эстетическим увлечением пишет он фигуры прях, непринужденность, виртуозную точность их движений. Это целый гимн во славу труда: ремесла — искусства, творчества.

Так в картине, целью которой представители идеалистического искусствознания хотят видеть стремление художника «уничтожить границу между реальным и ирреальным», великий испанский реалист, вводя мифологическую сцену, вовсе не уходит от действительности, а, напротив, с ее помощью приближается к этой действительности, глубже раскрывает некоторые стороны современной ему реальной жизни. Стороны жизни, которые в полную меру художник испытал на себе...

Ведь бессмертные «Пряхи» создавались тогда, когда спесивые испанские гранды с презрением взирали на людей, занимающихся трудом, в том числе и искусством. Они превратили в долгую, унизительную тяжбу, безусловно, сократившую художнику жизнь, указ короля о приеме Веласкеса в рыцарский орден Сант-Яго. Указ этот был выполнен лишь тогда, когда решение, по существу, сводило на нет его смысл — утверждение равенства гениального художника членам ордена. В документе было оговорено, что Веласкесу «прощается отсутствие благородного происхождения его (Веласкеса) четырех дедов и бабок»!..

Чванливым феодалам было невдомек, что не они, а гениальный Веласкес знаменует честь и славу Испании, ее бессмертный вклад в общечеловеческую художественную культуру.

Антон ПРИШЕЛЕЦ

# Верность

## ЧЕСТНО...

Я люблю,
Когда сердце мое кричит,
Не люблю,
Когда сердце мое молчит.
И стихи я люблю такие,
Что как песня моей России:

Беспокойные,
И тревожные,
И ямщицкие,
И осторожные,
И распевные,
И неровные,
И разбойные,
И любовные,
И солдатские,
И матросские,
И с девчонками,
И с березками.
Как родная страна —
Вся зеленая,
В дали, к звездам вся
Устремленная!

Я хочу,
Чтобы в радости и в печали
Все во мне голоса
Безраздельно
И громко звучали.

Чтобы боль моя,
Радость и крик
Перелились
В тревожный и радостный стих.

И отсюда прошли бы
И шли до конца
Каждой строчкой моей —
Через все,
Через все сердца!

## СНОП

Цветочки сеют для души,
Волшебно их очарованье.
Цветы, конечно, хороши,
Но не они всего желанней.

Они прекрасны, ну и пусть!
А для того,
Кто вдаль шагает,
Всего дороже
Хлеба кус,
Что родниковой запивают.

И у людей —
Не тем почет,
Кто наберет букет отличный,
А тем,
Кто от земных щедрот
Собрал тяжелый
Сноп пшеничный!

## ЛОШАДЬ

Никто не знает,
Сколько лет
Она родному служит краю.
На лошадей
И метрик нет,
Им юбилеев не справляют.

...Под солнцем жаворонок пел,
Цвели чудесные ромашки.
Не для тебя!
А твой удел —
Всегда, везде
Шагать в упряжке.

В осенний дождь
И в гололедь,
Срываясь, билась на коленях.
Но лошади нельзя болеть,
Ей — ни врача, ни бюллетеня.

И сколько б кнут
Тебя ни сек —
Стал шаг не тот,
Слабели силы.
Вокруг стучит машинный век,
Все гуще «газики»
Да «ЗИЛы».

С такими в поле веселей,
Да им —
И ни овса, ни сена...
И конь, последний на селе,
Уходит медленно со сцены.

Прощай, наш друг!
Быть может, зря
Я тех обид коснулся вкратце.
Прощай!
Но, правду говоря,
Нам нелегко с тобой расстаться!

## НОВАЯ ТЕТРАДЬ

У обрыва расписного,
У студеного ручья,
Ты росла в бору сосновом,
Сколько лет, не знаю я.

Но пилой тебя спилили
И в цеху на Балахне
В лист бумажный превратили —
И тетрадь досталась мне.

Вот лежишь передо мною
Ты в обложке голубой,
И в квартире
Пахнет хвоей
И таежною смолой.

И на краткое мгновенье,
Затерявшись в том бору,
Вдруг я слышу птичье пенье,
Шум сосновый на ветру.

Но едва глаза открою,
Снова вижу наяву
И тебя перед собою
И за окнами Москву.

А над нею, над Москвою,—
Вечер и огни кругом,
И летят снежинки роем
На высотный светлый дом.

Я листы твои листаю,
Рад, что новая тетрадь!
Я листаю — и не знаю,
Что писать,
С чего начать.

С шутки — слишком уж обычно,
И не в шутках ныне суть.
Мне б хотелось
Поличничней,
Посердечней что-нибудь.

Пожелайте ж для порядку
То, чего б желал и сам:
Чтобы я
Полну тетрадку
Новых песен написал!

## ДВЕ ГРОЗЫ

Ах, эти споры — ни о чем!
Ах, эти ссоры!..

Дело в том,
Что мне, поймите ж,
Не до них.
А дело в том,
Что за окном —
Гроза,
И дождь,
И детский крик.

Весенний дождь,
Весенний гром.

И снова —
Солнце за окном!

А над оградою,
И за оградою
Слезинки падают,
Все еще падают.

И вздрагивают
Листья и цветы.

А ты?..

Чуть улыбаются глаза —
Твои, омытые, большие.
И вот — они уж не гроза,
И вот — они уж
Не чужие.

## ВЕЧЕРОК

Летний вечер хорош.
У дороги — елка.
Собралась молодежь
Со всего поселка.

Ветерки
Вдоль реки
Провожают тучку.
Месяц жал тростники —
Отломилась ручка.

У моста, под лучом,
Промелькнула щука.
Положи мне на плечо
Ласковую руку.

Наклонись невзначай,
Обжигая щеку.
Я сорву иван-чай —
Тебе на дорогу.

Не пойду одинок —
Где твой дом, я знаю...
Ой, хорош вечерок,
Зорька золотая!

## ГДЕ ТЫ!

Годы катятся,
Годы катятся,
Словно волны
Большой реки.
Где ты, девочка
В белом платьице?
Вечер,
Лодочка,
Тростники...

Ты хорошая,
Ты красивая,
Словно вишня,
Когда в цвету.
Как же, боже,
Несправедливо ты
Делишь девичью
Красоту!

А подружке-то —
Ей невесело,
А подружке —
Наоборот.
То ли что-то
Она заметила,
То ли зависть
Ее берет.

Ты смеялась,
Смешила,
Плавала,
Из ромашек
Плела венок.
А от берега
Пахло травами,
И плескался
Хопёр у ног.

Годы, годы!
А так ли, было ли?
Может, были
И мы не те?
Билось сердце
Мое бескрылое —
Так хотелось
Ему взлететь!

Нынче сколько вас
Недосчитано?
Еще скольким я
Послужу?
Много всякого
Мной испытано —
Все по-честному
Доложу!

Жил на Волге
И на Арбате я,
По степям гулял,
По лесам...
Где ты, девочка,
В белом платьице?
Я б сказал,
Да не знаю сам!

## ПЕСНЯ МОЯ

Я люблю стихи свои —
Хорошие,
Камышами звонкими поросшие,
Полевой полынью, подорожником,
Только
Непременно чтоб хорошие!

От строки и до строки
Пропахшие
Нивами,
Дымящимися пашнями.

Шумными лесами
Прошумленные,
В родину,
Как сам поэт, влюбленные.

Я живу
Всегда по зову сердца —
Шутка, что зовут меня
пришельцем!

Ниоткуда я не приходил —
Сельский мой народ
Меня родил
И горячим русским сердцем
Наградил.

Сколько с ним
Мы знали всякой всячины!
Все прошло,
Хоть дорого заплачено...

Я люблю стихи свои —
Такие,
Без которых
Я не мог бы жить.
...Песня моя —
песня о России,
А Россию
Мне ли не любить!

Мария ХАЛФИНА

Рассказ

Рисунок Ю. ВЕЧЕРСКОГО.

# ВИКТО

Самойлиху — Глафиру Матвеевну — в деревне не то чтобы не любили, а, точнее сказать, побаивались. Ей ничего не стоило оборвать человека на полуслове, высмеять за какую-нибудь промашку, приклеить человеку смешное, а иногда и зазорное прозвище.

Нередко Матвеевну осуждали за резкий характер, за излишне острый язык, но связываться с ней или просто по-соседски поругаться опасались.

И все же, когда из района пришла еще одна подвода с эвакуированными, председатель сельсовета Иван Максимович пошел не к кому-нибудь, а именно к Самойлихе с просьбой принять временно на квартиру вновь прибывшую семью.

Изба у Самойлихи была не очень просторная, но делилась тесовой перегородкой на две части. Получалось как бы две комнаты — горница и кухня.

Больше двух лет горенку занимали две молодые учительницы, потом они получили комнатку при школе, и уже более месяца Матвеевна жила одна.

Иван Максимович не убеждал ее, не уговаривал. Мужик он был немолодой и немногословный. Он сказал:

— Выручай, Глафира Матвеевна. Направление у них до Иштанова, да куда же людей в такую непогодь гнать... с ребятишками... Они от самой границы от немца вакуируются... чуть не полгода в пути... Ребята, видать, простуженные, старуха на ладан дышит... А мужик у ей, у молодухи-то, пограничник, с первых дней без вести...

И замолчал, чтобы дать Самойлихе прокричаться.

Она в то утро встала с левой ноги. Кормов в колхозе не хватало, коровы с наступлением холодов резко сбавили надой. Красавка из Веркиной группы больше суток не могла растелиться, бабы на ферме обревелись, глядя на ее мучения.

Матвеевна на днях ходила в район получать пенсию за погибшего сына, до ветеринара дозвониться не могла, на линии повреждение было, а зоотехник доморощенный, Матвеевнина родная племянница — Онька непутевая, — чего она в этих делах понимает? Прибежала вечером, воет: «Теть Глаша, иди, ради Христа, помирает Красавка!»

Телка́ Матвеевна, конечно, приняла, но, вернувшись с фермы под утро домой, не смогла уснуть, так руки ломило, хоть криком кричи. Встала, когда Иван Максимович постучал к ней в окошко.

— Совесть надо иметь, Иван Максимович, человек ты или нет?! Я старуха, мне бы давно на печи сидеть, а я на ферме за двух молодых ворочаю. Там за день умотаешься, нагавкаешься, хоть ночью дома отдохнешь, а ты мне пихаешь с детями да с больной старухой...

Иван Максимович молча слушал, вздыхал, покряхтывал, пока Матвеевна не отвела душеньку, не выложила всего, что нагорело на́ сердце.

Потом, уже надевая у порога шапку, председатель сказал негромко, мирно, словно после доброй беседы:

— Так ты зайди, погляди сама... Шибко они промерзли, одежонка-то никудышная... Баню бы протопить... ребят прогреть...

И ушел, не попрощавшись.

* * *

В сельсовет Матвеевна пришла уже за полдень. Эвакуированные сидели в комнатушке Маруськи-счетоводки. Там было потеплее. Молодая, облокотившись о подоконник, не то дремала с устатка, не то слишком уж задумалась о чем-то своем: и глаз не подняла и на «здравствуйте» не ответила.

Крохотная старушка, примостившись у ее ног на двух серых узлах, штопала ребячью варежку. Слева, прислонившись к ее плечу, сидел худенький, совсем прозрачный мальчишечка лет восьми с забинтованным горлом. Справа стоял второй, постарше, поплотнее, смуглый и черноглазый.

Так вот и сидели они в уголке плотной тесной кучкой, чтобы не мешать, не занимать лишнего места в этой маленькой комнатке, где люди заняты делом.

Матвеевна не спеша потолковала с Маруськой о делах на ферме, о кормах, о том, что Красавка, слава богу, опять принесла телочку.

Маруська, невпопад поддакивая, поглядывала на нее нетерпеливо и вопросительно. И старушка, опустив на колени варежку, с робким и тревожным ожиданием смотрела в непроницаемо-равнодушное лицо Матвеевны.

И мальчишки смотрели. Старший хмуро, насупившись, маленький, шмургая простуженным носом, ждал, приоткрыв рот.

Столкнувшись с его светлым, доверчиво ожидающим взглядом, Матвеевна отвернулась, буркнула сварливо:

— Чего же здеся рассиживаться-то? Давайте подымайтесь... Баня выстоилась, да и обедать время...

Маруська выскочила из-за стола, засуетилась обрадованно:

— Теть Глаша, ты сегодня на дойку не ходи, я вечером сбегаю, помогу... Может, дома надо чего сделать, ты скажи...

И старушка засуетилась. Тошно было смотреть, как она то кидалась застегивать маленькому пальтишко, то хваталась за узлы и все лепетала, лепетала взволнованной скороговоркой:

— Вставай, Зиночка... Ну что же ты, Зиночка?! Ты слышишь, за нами пришли... Вот, Глафира Матвеевна пришла, приглашает нас к себе... Познакомься, Зиночка, это Глафира Матвеевна, она нас к себе приглашает...

Зиночка нехотя отодралась от подоконника, протянула Матвеевне вялую руку:

— Полонская... Зинаида Павловна... — Голос у нее был вялый, тусклый, точно спросонья.

Потом подошел старший, солидно, помужски тоже пожал Матвеевне руку, представился:

— Меня зовут Саша, а это Павлик, а это наша бабушка Нина Семеновна.

Маруська не стерпела, фыркнула за спиной. Матвеевна, покосившись на нее, сурово распорядилась:

— Манька, бери энтот узел, а ты, Нина Семеновна, не тормошись, без тебя обойдется. Сумку Зинаида донесет, авось, не надорвется. Ты, большак, малого веди, на улице ветрище, склизко, не приведи господь.

И, вскинув на плечо второй узел, пошла. За ней чинно, гуськом двинулось семейство Полонских. Шествие замыкала сияющая, довольная Маруська.

Очень уж все хорошо, культурно получилось. Рассказать вечером, как эвакуированные с Самойлихой знакомились, — девчонки обхохочутся.

Дома, свалив поклажу на крыльцо, Матвеевна сказала постояльцам:

— Айдате прямо в баню. Одежонку скиньте в предбаннике, завтра пропарим. Я вам тама собрала кой-чего чистого с дороги переодеться...

Нина Семеновна охнула, прижала к груди крохотные ладошки:

— Ради бога, Глафира Матвеевна, вы не беспокойтесь, мы вчера в вашем райцентре полную санобработку прошли. В баньке помыться, прогреться по-настоящему — это замечательно, это для нас — вы даже не представляете...

Баня у Матвеевны топилась по-черному, но была просторная и с теплым предбанником. Пока городские раздевались, Матвеевна растолковала Нине Семеновне что к чему:

— Тут вот в бутылке самогонка напополам с редечным соком, малого-то, Семеновна, натри на сухое тело, да и пропарь на полке́ веником. Черная редька с вином — первое средство от простуды. И сама руки-ноги прогрей, ишь как их у тебя ревматизмом покорежило. Мыло у меня серое, не обессудьте, в кадушке щелок, голову мыть, веник в шайке запарен. Воду не жалейте, мойтесь, а я на ферму схожу, молока ребятёшкам принесу.

Позднее, присмотревшись к постояльцам, Матвеевна рассказывала сгоравшим от любопытства бабам:

— Все старухой держится. Там и поглядеть не на кого: махонькая, как гриб сушеный, кожа да кости, а проворная и, видать, ко всякой работе привычная. Я думала, молодая-то дочь, а она ей снохой доводится. Старуха-то к ней все: Зиночка да Зиночка... А энта Зиночка и не поймешь: то ли порченая, то ли уж природа у ей такая никудышная. Ходит — нога за ногу заплетается. А то замотает голову бабкиной шаленкой и лежит день-деньской, ровно неживая.

Интеллигенция, а ни к какому делу не способная. Ни ребят обучать, ни лекарство выписать, ни роды принять... на машинке печатать и то не умеет. Директор школы с Иваном Максимычем хотели ее в машинистки приспособить, машинка-то в конторе ни к чему стоит, так она, Зиночка-то, не могу, говорит, не умею.

И ремеслу никакому не обучена. Ни сшить, ни скроить, ни кружева связать... Старуха говорит: об мужике она шибко тоскует. Очень уж они дружно промеж себя жили... Без вести он с первых дней. Начальником он у них был на самой границе, их с детями вывезли, а он остался... Она все пишет, ищет его, а письма и назад не идут, и ответа ниоткуда нету... А их, когда вывозили, бомбили страшно, старуха говорит: это еще чудо, что все живые остались, что не порастеряли друг друга.

Ну, а ребятишки у них, ничего не скажешь, вежливые, не фулюганы. Они у них, старуха говорит, двойняшки. Я прямо диву далась: двойняки, а уж до чего же разные дети...

Эвакуированные двойняшки сразу при-

влекли к себе внимание не только ребят, но и взрослого населения деревни.

Именно потому, что очень уж они были разные.

Крепенький черноглазый и смуглый Саша всего на два часа был старше брата, но уже через несколько дней и в школе и в деревне их стали называть: старший и маленький.

У хиленького синеглазого Павлика правая ножка была короче левой, на ходу он сильно прихрамывал. И еще он как-то совсем по-детски картавил.

Когда Женька Азаркин при первом знакомстве с братьями бесцеремонно спросил Павлика, где его угораздило сломать ногу — кто его знает, может, это его немцы покалечили? — Павлик охотно и весело ответил:

— Нет, она у меня не своманная, я так и родився, хвомой.

И, конечно, по общепринятым школьным традициям к нему сразу прилипла кличка «Хвомой».

А Сашу ребята прозвали Заставой.

На все расспросы ребят о довоенной их жизни на границе, об отце-пограничнике Саша отвечал, начиная фразой: «У нас на заставе...»

РИЯ

А поскольку Матвеевна перекрестила братьев на свой лад — Санькой и Панькой,— получилось: Санька-застава и Панька-хвомой.

На прозвища братья не обижались. Они уже перешли в четвертый класс и со школьными обычаями были хорошо знакомы.

Только первые дни Саша держался настороженно и даже как бы в боевой готовности в любую минуту вступить в драку, но, когда убедился, что никто из ребят не намерен смеяться над Павликом, дразнить его детской картавостью и хромотой, сразу успокоился и с какой-то безоглядной, благодарной доверчивостью пошел на сближение и дружбу с местной деревенской ребятней.

Братья очень легко и безболезненно приживались и к людям и к новой обстановке.

И бабушка Нина Семеновна тоже пришлась ко двору. Она не только успевала управляться с домашними делами, но в горячие весенние и летние дни ходила на колхозную работу. В овощную бригаду. Большим опытом в этой отрасли сельского хозяйства она не обладала, но до подлинной страсти любила копаться в земле, возиться с нежной, хрупкой рассадой.

Кроме того, она была хорошо грамотна, добровольную ее помощь в бригаде очень ценили.

Звеньевая Тамара Зуева часто прибегала к ней вечером с ворохом брошюр и плакатов, и они вдвоем — старая мать пропавшего без вести сына и молодая солдатская вдова — сидели над книжкой допоздна, обсуждали увлеченно: как бы исхитриться еще на недельку раньше подогнать в парниках помидорную рассаду, как уберечь от прожорливых вредителей раннюю, уже начавшую завиваться в кочан капусту.

Хуже дело обстояло с Зинаидой Павловной. От бабушки Нины Семеновны в деревне узнали, что Зиночка окончила музыкальное училище и до войны обучала детей музыке «по классу рояля». Никакой другой специальности она не имела, и в деревне подобрать для нее подходящую работу было мудрено.

Она тоже ходила в колхоз окучивать картошку, на прополку или в сенокос валки подгребать.

Но ни в чем не было у нее сноровки, все получалось нескладно и неспоро. Неловко и жалко было смотреть, как она, с трудом разогнув пересеченную болью поясницу, стоит, опершись на тяпку.

Ее старались посылать «на легкие работы» в овощную бригаду, где работали в основном старухи и самые слабосильные женщины.

Никто не сказал бы, что она ленится, «волынит», все видели, как пытается она не отставать от других, но при всем старании все равно никак не могла она осилить и половины дневной нормы.

И работала она всегда молчком, не поговорит с женщинами, не поделится горем — а горе-то ведь у всех было общее. Не поплачет, не пожалуется, как трудно привыкать ей к тяжелой, крестьянской работе.

Молчала и все думала-думала о своем... а задумавшись, уже ничего не соображала: драла заодно с сорняками кудрявенькие всходы моркови, тяпала остро наточенной тяпкой куда попало, под самый корень молодого картофельного кустика.

Надумали было летом направить ее работать в телятник. Через неделю прибежала к Матвеевне Онька Азаркина, взмолилась:

— Теть Глаша, заберите вы эту свою Зиночку ради Христа! Ничего же она не то́лкует, как малограмотная, ей-богу. Рационы все перепутает, телятишек не различит: который на подсосе, которого с пальца к пойлу приучать надо. К корове подойти боится. Они, говорит, бодаются! Ей-богу, не вру!..

Как-то приятельница Матвеевны, доярка Анна Никитична, пришла звать Зинаиду Павловну на именины, поиграть гостям на гармошке.

Если человек на рояле обучен, так уж на трехрядке-гармошке сумеет «подгорную» сыграть.

Зинаида Павловна была явно поражена этим приглашением:

— Что вы?! Что вы! Боже мой!.. Да я никогда в жизни никакой гармошки в руках не держала... Я не умею!

Бабушка Нина Семеновна до самых ворот провожала Анну Никитичну, сконфуженно извинялась, пытаясь объяснить, что гармошка — это тоже, конечно, клавишный инструмент, но рояль... совершенно иное дело... Пусть никто не подумает, что Зиночка из гордости, из-за каприза отказала добрым людям в услуге.

После этого случая отношение женщин к Зинаиде Павловне стало совсем уж недоброжелательным.

Да оно и понятно. Люди тяжелого, для всех неоценимо-нужного труда не могут относиться иначе к человеку никчемному, бесполезному, не проявляющему таланта ни в какой работе.

Если раньше в колхозе называли ее иронически Зиночкой, теперь она получила прозвище — «Музыкантша», причем слово это имело уже оттенок явной насмешки.

Особенно невзлюбила Музыкантшу Онька Азаркина:

— Так же, видать, и на музыке играет, как картошку окучивает: тяп-ляп под корень... И как такие неумехи на свете живут? Старушонка — в чем душа держится — за что ни возьмется, все у нее в руках кипит. Старший, Санька, все лето в поле. И копны возит, и пастушит с Проней-безруким, и на току наравне с большими парнишками помогает. На что Панька — хроменький, и тот колоски в поле подбирает или сидит с дедом Андреичем, корзинки плести обучается...

— Это точно! — соглашались бабы. — Вся семья работящая, а энта Музыкантша, и годами молодая и телом справная, сидит дома за старухиной спиной. У ей, видишь, горе — муж без вести... А у кого теперь горя-то нету? Чуть не в каждой избе похоронная...

— Был бы мой без вести, я бы терпела, все же есть еще чего ждать, на что надеяться: а может, живой? Может, объявится?

Долгое время не могли для Зинаиды Павловны подобрать работу, но выручил случай.

Заведующую сельской библиотекой, молодую красивую девчонку, умыкнул заехавший погостить к родне демобилизованный по ранению лейтенант.

На освободившееся место и назначили Зинаиду Павловну. Жили Полонские попрежнему у Матвеевны.

Хотя и говорили люди, что у Самойлихи неуживчивый характер, с Ниной Семеновной жили они душа в душу.

Нина Семеновна старалась, чтобы к приходу Матвеевны с фермы в избе было тепло и прибрано. Чтобы и самоварчик кипел и горяченького было чего похлебать.

Питались совместно. Скудно питались. Эвакуированные паек получали не богатый. С колхозного трудодня тоже мало чего доставалось.

Матвеевна водила десятка полтора кур да свинешку одну с грехом пополам за год откармливала.

Корову не держала. Покосов тогда колхозникам не выделяли — коси, где ухитришься урвать крадучи. Покупных кормов рядовая корова оправдать не могла: надо было уплатить налоги и молоком и деньгами.

Кормились в основном с огорода. На второй год собрались с деньжонками, купили козочку суягную.

Себе на беду. Козочка попалась молочная, доброго характера — не блудня, не озорница и на корм неприхотливая.

Но первенец ее, козленок Борька, положительно свел Павлика с ума. Они ни на минуту не расставались. Козленок гонялся за Павликом, как собачонка. Когда Павлик уходил в школу, Борька начинал метаться. Скакал, словно бесноватый, по столам и кроватям и без передышки блеял. Не блеял, а вопил навзрыд.

Нина Семеновна, держа его на коленях, внушала, что криком делу не поможешь. Надо терпеть и ждать.

— Сиди спокойно и смотри в окошечко. Вон туда, на горку смотри. И жди. Посидишь, потерпишь, вот он, твой Павлик, и придет.

Помаленьку Борька научился ждать. Цветочные горшки с окна убрали; вскочив на подоконник, он устраивался поудобнее и терпеливо ждал.

Завидев ковыляющего с пригорка Павлика, он кубарем скатывался с подоконника, мчался к двери, кричал, топотал от нетерпения копытцами. А когда Павлик входил, бросался к его ногам, бодался, прыгал, словно его пружиной подбрасывало.

Долго кормить козла никакого расчета нет. Можно было прирезать на мясо, и покупатели находились, давали хорошую цену.

Матвеевна жаловалась соседкам:

— Прямо ума не приложим, чего с Панькой делать. Пришел вчера Стёпша, стал к Борьке приторговываться. Я гляжу — Панька побелел весь, вытаращил на меня глазищи свои, у меня прямо сердце зашлось... Сами знаете, взгляд-то у него какой...

Взгляд у Павлика был светлый и тихий, но, когда заходил разговор о дальнейшей Борькиной судьбе, глаза его наливались таким ужасом, такой мольбой, что взрослые немедленно переводили разговор на другое.

Борька продолжал здравствовать и процветать. Довольно быстро он оформился в солидного козла, с противной бороденкой и скверным характером.

Но Павлик не изменил любви к Борьке до последнего своего дня.

* * *

Павлик утонул в конце июня 1944 года. Речушка была не глубокая, но быстрая и порожистая. А Павлик не умел плавать. Забрел в воду всего по колено, течение сбило



его с ног и уволокло в небольшой тинистый омут.

Хоронили Павлика всей деревней. Только бабушка Нина Семеновна не смогла проводить маленького в его последний путь.

С ней в опустевшей избе оставались Матвеевна и молоденькая фельдшерица Валентина Петровна.

Сама обливаясь слезами, Валентина Петровна грелками и уколами пыталась не дать угаснуть последней искорке жизни, еще теплившейся в изможденном, старом теле.

А осунувшаяся Матвеевна готовила во дворе стол, чтоб могли люди, вернувшись с похорон, помянуть так недолго прожившее среди них, милое всем, доверчивое и ласковое дитя.

Но было не до поминок. Зинаида Павловна, неузнаваемая — с опухшим, серым лицом, с одичавшими от горя глазами,— металась по избе, исступленно проклиная жизнь. И ненасытную смерть, что унесла Павлика, а ее оставила жить на этой проклятой земле.

Потом она вдруг закричала на Сашу, за все эти страшные дни не проронившего ни единой слезинки:

— Ты бесчувственное животное... У тебя нет сердца... уйди! Я не могу тебя видеть. Уйди!!

А Саша не мог плакать. Даже тогда, когда обезумевшая от горя мать бросала ему в лицо бесчеловечно-жестокие слова.

В нем все окаменело. Он не мог понять: как это может быть?! Он живет, а Павлика нет? Совсем. Навсегда нет и никогда больше не будет... Может быть, в этом и заключается его вина, что Павлика нет, а он живет... или в том, что он — старший, здоровый, сильный — недосмотрел, не уберег... ушел на работу в поле, оставил его с ребятишками... и некому было его спасти.

— Не могу тебя видеть... Уйди! — кричала мать, и Саша, сгорбившись, пошел из избы. И тогда со своей, казалось бы, уже смертной, постели поднялась бабушка Нина Семеновна.

Она бросилась к Зинаиде, повисла на ней, с воскресшей вдруг непонятной силой повалила на кровать, держала запрокинутую навзничь голову, не давая ей подняться.

— Зиночка, опомнись! Не смей, Зиночка, ты убьешь его! Сашу! Позовите Сашу! Зиночка, приди в себя!

На помощь ей бросилась Валентина Петровна, а побелевшая Матвеевна кинулась из избы искать Сашу.

Но его уже перехватила и увела к себе старая учительница Мария Леонидовна, и был подле него заплаканный неразлучный друг Женька Азаркин.

А во дворе, за поминальным столом, хмуро сидели вернувшиеся с кладбища женщины и старики.

За столом хлопотала на правах хозяйки Онька Азаркина. Выпили по стопке самогона, помянули покойного остывшими пшенными блинами. Молча, подавленно прислушивались к тому, что творится в избе.

Бобылка Никанориха, поджав сухие губы, сказала осуждающе:

— Чего уж этак вопить-то? Конешно, всякой матери своего дитя жалко, а только, ежели разобраться, так для него, может, и лучше... Тоже не сладкая жизнь такому... убогонькому-то...

— Чья бы корова мычала...— зло оборвала ее Онька Азаркина.— Ты бы попробовала родила хоть одного... Сама ты убогая... слепая душа!

По мнению некоторых, Оньке следовало бы помалкивать. Она, безмужняя, опять «ходила с коробом». Только первенец ее, Женька, был «законным». Восемь лет назад она прогнала со двора пьяницу мужа, а через два года родила себе толстомясого рыженького Андрейку неизвестно от кого.

Онька, посмеиваясь, называла его «подосиновиком». В ту зиму она от колхоза работала на лесозаготовках, а там в те довоенные годы мужики были со всех волостей. Со своими деревенскими она не баловала, к тому же рыжих ни парней, ни женатых в деревне не было, поэтому бабы к Онькиным грехам относились терпимо.

Когда обнаружилось, что сейчас Оньке опять «ветром надуло», бабы только руками развели. Потом припомнили, что в конце зимы Онька была в городе на курсах животноводов и кто-то из деревенских, приезжавших на базар, видел ее с немолодым раненым летчиком.

Самым суровым судьей легкомысленного Онькиного поведения была Матвеевна, родная ее по матери тетка. Это она первая назвала Оньку непутевой, но сейчас, когда Онька грубо обрезала Никаноровну, Матвеевна решительно поддержала непутевую свою племянницу:

— Кто дитя не хоронил, тот настоящего горя не знает... А Паня-покойничек... Дай бог всем бы нам такими убогими быть...

И она вдруг громко, навзрыд заплакала, впервые за эти дни заплакала при людях, чего никогда и раньше себе не позволяла.

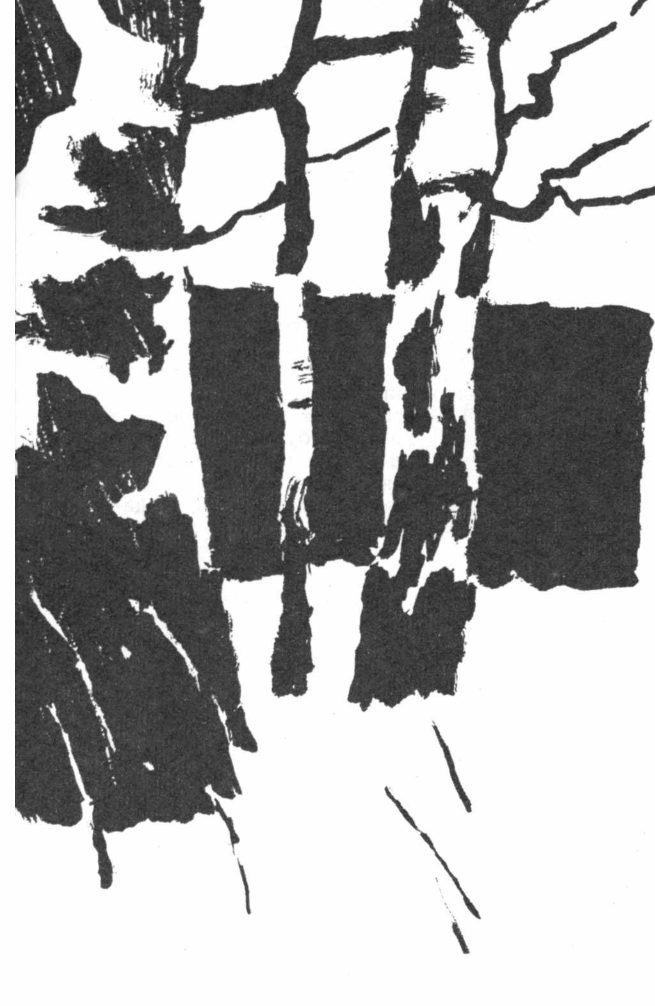
И когда получила похоронную на единственного своего сына Леню, девятнадцатилетнего парнишку, погибшего под Ленинградом,— уходила кричать в лес или ночью выла, одна запершись в темной избе.

— И то еще горе полгоря, когда сама его слезами обмоешь, обрядишь его в гроб своими руками... И могилка его рядом, на своей земле. А вот, как проводишь ты на войну сына молоденького, глупого... Ничего он еще на свете не повидал, ничего-то он еще в своей жизни не испытал: не миловался с девчонкой до белой зари, не стоял под венцом с невестой суженой, не покачал на коленках сына первого... Хоронила я мужа, думала — душа с телом расстанется, а не знала того, что самое-то лютое горе еще впереди ждет...

— Каждому свое горе тяжельше кажется...— проплакавшись, откликнулась Маня Погорельцева.— У меня вот их четверо осталось, мал мала меньше... четверо сирот, каково без кормильца-то? Или вон Надежда, ей двадцать третий пошел, а у нее двое на шее осталося...

— Не о том речь... сироты на шее... кормилец...— Матвеевна, проплакавшись, опять уже спряталась в свою жесткую раковину.— Вон Гурьяновы старики последнего потеряли. Не об кормильце они как свечи у всех на глазах тают... Конечно, молодой бабе с детьми овдоветь... чего говорить... А все же молодые раны заживчивые... Взойдет солнышко — росу высушит...

— Увы, утешится жена... и друга луч-



ший друг забудет...— вздохнув, негромко произнес пожилой завуч школы, литератор Алексей Миронович.

— Как вы можете? Как вы можете?! — Всхлипнув, молоденькая учительница Верочка вскочила из-за стола и, сутулясь, побежала к калитке.

У нее недавно погиб жених — первый, единственный, ни с кем не сравнимый. Все, что здесь говорилось, казалось ей кощунством, оскорблением его памяти.

— Ладно, друзья. Ни к чему этот разговор затеян... Верочка-то? А?! Ох, старый дурак! Куда она побежала-то?!

Вслед за Алексеем Мироновичем потянулись со двора и остальные. Задержались только близкие, чтобы помочь хозяйке убрать поминальные столы.

Трудно сказать, как сложилась бы дальше жизнь семьи Полонских, если бы вслед за бедой не пришла радость. И не радость, а чудо, уже нежданное, в которое уже все перестали верить.

Чудо было не в том, что Полонский Дмитрий Яковлевич живым и почти невредимым давно вышел из окружения и больше двух лет уже в чине майора воевал на Втором Украинском фронте.

Чудом было то, что после длительных бесплодных розысков смог он все же найти семью, заброшенную эвакуацией в эту сибирскую деревню, случайно ставшую для его матери, жены и сыновей добрым приютом.

Письмо пришло из подмосковного госпиталя. После четвертого ранения Полонский залечивал и старые и свежие «пустяковые», как он писал, раны. Руки-ноги почти что целы, голова на месте, а кое-какие хорошо заштопанные дырки на корпусе в счет не идут. После выписки из госпиталя ему обещали десятидневный отпуск «домой». Так что теперь нужно только набраться терпения и ждать.

Когда Саша со своим неразлучником Женькой Азаркиным прибежали со счастливой вестью к Матвеевне на ферму, женщины бросили дойку, набежали телятницы, прискакал на своей деревяшке скотник Афоня Вахрушев.

— Нет, девки, есть все же бог на небе!— убежденно изрекла Онька Азаркина, погрозив пальцем безмятежно синим небесам.— Хоть и полудурок и хозяин никудышный, а все же есть, существует! Утопил, паразит, парнишку, а потом, видно, опамятовался, совестно стало...

* * *

Дома Дмитрию Яковлевичу удалось побыть всего четверо неполных суток. Счастливых и мучительных — четыре дня и три ночи.

Он плакал, склонившись над могильным холмиком сына; смеялся, пораженный ранним возмужанием Саши (какое это счастье обнять сына, ощущая под ладонью мускулистое, плотное мальчишеское плечо!); стискивая зубы от непереносимой жалости, целовал высохшие, коричневые от загара руки матери.

Не спуская влюбленных глаз с Зинаиды, любовался каждым ее движением.

А на нее и невозможно было смотреть, не любуясь. Оказалось, что она еще совсем молодая. Глаза, как у той царевны из сказки... и летучая походка... и голос певучий и звонкий.

Только любовь может за несколько дней так преобразить человека. Теперь она уже ничего не боялась. Она не просто верила, она знала, что больше с ними уже ничего не может случиться плохого.

Война идет к концу. Митю с его заслугами и тяжелыми ранениями никто, конечно, не допустит больше в опасное место. Такого быть не может.

Теперь все будет хорошо.

Она не плакала, прощаясь с мужем. Она даже прикрикнула на рыдающую свекровь и побледневшего Сашу. Как можно так распускаться?

Митя должен ехать спокойно. Беречь себя, сразу же по приезде в Москву лечь в госпиталь, чтобы окончательно укрепить подорванное здоровье.

Дмитрий Яковлевич слушал последние наставления жены, опираясь на плечи приникших к нему с двух сторон Саши и Женьки Азаркина.

Он боялся встретиться взглядом с глазами жены. Старался не слышать сдавленного плача матери. Силы его были на исходе.

Председатель Иван Максимович тронул его за локоть.

— Ладно. Дальние проводы — лишние слезы... Давай, Митрий Яковлевич, добивай Гитлера да вертайся прямо сюда. Будем ждать с победой. А о семействе не беспокойся... Санька у тебя добрый хозяин растет... Все в порядке будет.

Прощаясь, Полонский поцеловал у Матвеевны руку, сказал хрипло:

— В неоплатном я перед вами долгу, Глафира Матвеевна...

И, садясь в кабину колхозного грузовика, прощаясь с обступившими его женщинами и ребятишками, повторял:

— Спасибо... всем вам спасибо...

После отъезда мужа Зинаида Петровна оставалась такой же неузнаваемо оживленной, деятельной и подвижной.

Вскоре о ней даже в районе заговорили как об активном и толковом работнике. Она организовала книгоношество, устраивала читки и обзоры литературы, совместно с учителями провела в заброшенном сельском клубе вечер, посвященный годовщине Октября.

Уговорила директора школы и колхозное правление купить на паях в соседней деревне у демобилизованного солдата трофейный немецкий аккордеон и через неделю заиграла, да так, что никто уже не сомневался больше в ее музыкальных талантах.

Ожил старенький сельский клуб. В День Конституции Дубровинский сельский хор с успехом выступал в сводном концерте на сцене районного Дома культуры.

Не испугала Зинаиду Павловну и беременность. Нина Семеновна попыталась было робко ее предостеречь: «Обдумай, Зиночка, все хорошенько. Война еще не кончена, мало ли что может случиться...»

А случиться еще могло всякое. Наши шли на Берлин. Начался последний этап великой битвы за победу.

Но Зинаида Павловна ни о чем таком и слушать не хотела.

— Ради бога, мама, не стоните вы и не каркайте! Митя же пишет, что ему ничего не угрожает. Нелепость какая! Всю войну человек сражался в самом пекле, а теперь, когда уже все кончается, вы придумываете всякие нелепые ужасы. Когда Митя вернется, у меня будет мальчик. Я назову его Павликом...

Весна была ранняя. Весна Победы. Все знали, что победа близка. По утрам молча замирали у колхозного репродуктора, чтобы не проронить ни одного слова из победных сводок оттуда.

И с еще большим страхом встречали люди письмоносца. Те, кому еще было кого ждать.

* * *

Дмитрий Яковлевич погиб второго апреля. Теперь Зинаида Павловна не кричала, не билась в истерике. Она была уже в декретном отпуске, могла не выходить со двора, не встречаться с людьми. Тяжелая, грузная, лежала в своей боковушке, отвернувшись лицом к стене. Она много спала, но почти не могла есть.

В уходе за ней Саша и бабушка Нина Семеновна были Матвеевне плохими помощниками. Осунувшийся, молчаливый Саша все норовил куда-то уйти, забиться в угол, спрятаться от людей. Даже Азаркин Женька не лез к нему на глаза. Караулил издали, слонялся молчаливой тенью.

А бабушка лежала тихая, обессилевшая, бормотала что-то беззвучно, молила шепотком смерти себе.

Временами Матвеевна, сама за последнее время лишившаяся сна, кричала на Зинаиду:

— Ты ребенка носишь, бездушная твоя душа! Мать на смертной постели лежит, за Санькой глаз да глаз нужен, неужели ты не видишь, что не в себе парнишка?! Или у тебя у одной горе? Да если бы все мы — бабы — так-то вот руки опустили, работать бросили, от детей отвернулись, что бы тогда мужикам-то делать? Как бы они тогда воевать-то стали?! Ты дите доносить должна, поглядел бы Митрий Яковлевич, что ты над собой вытворяешь, как ты его дитем дорожишь...

Но Зинаиду Павловну даже самые жестокие слова не могли обидеть. Одинаково равнодушно выслушивала она и упреки, и соболезнования, и советы взять себя в руки, пожалеть семью и еще не родившегося Павлика.

* * *

В ночь на девятое мая, перед рассветом, Зинаида Павловна родила девочку. В больницу свезти не успели. Пока разбудили перепуганного Сашу, пока сбегал он на другой конец деревни за Валентиной Петровной, Матвеевна и с роженицей управилась и маленькую шлепками в чувство привела.

Девочка родилась немного раньше своего срока и сначала упорно не проявляла намерения жить.

За окном сияло майское, не по-весеннему жаркое солнце. Ошалевшие от счастья ребята-школьники носились по улицам Дубровки, колотили палками по заборам и палисадникам, вопили дикими голосами:

— Победа! Победа!! Айдате все к школе на митинг! Победа! Победа-а-а!!!

Вернувшись с митинга, Саша прошел в горенку. Он словно живой воды хлебнул, и ему не терпелось рассказать матери, как бежал к школе народ, как все плакали и обнимались и что «дядька из райкома» тоже плакал, поздравлял людей с победой, а девчонки успели сбегать в березняк, натащили целые вороха подснежников, кандыков, пушистых ветреников...

Но Зинаида Павловна лежала сонная, безучастная. Саша тихонько поднялся и на цыпочках подошел к широкой бельевой корзине.

В ней на подушке спала его крохотная новорожденная сестра.

Он впервые видел только что родившегося человека. На какое-то мгновение его ужаснуло жалкое, сморщенное личико. «Как обезьянка...» — подумал он с брезгливой жалостью.

«Все они, наверное, такие сначала бывают... И я такой был и Павлик. И Женька». Мысль эта успокоила и заставила подумать о деловом.

— Мам! — тихонько окликнул Саша, снова подсев к матери. — Давай назовем ее Викторией, ладно?

— Как хочешь... — равнодушно отозвалась Зинаида Павловна.

— Чего это ты придумываешь? — шепотом набросилась Матвеевна на Сашу, когда он вышел в кухню. — Какая еще тебе Виктория? Мать парнишку ждала. Павликом хотела назвать. Вот и надо девчонке дать имя Паша... Панечка.

— Виктория означает Победа, — нахмурившись, объяснил Саша. И по его жесткому тону Матвеевна поняла: спорить не нужно.

Перед ней стоял не мальчишка-подросток, а хозяин, глава семьи, который теперь за все в ответе.

— Ну и леший с тобой, делай, как хочешь... Вот станут ее ребята Вишкой или Торькой кликать, тогда спохватишься... Да оно, пожалуй, и спорить-то не о чем. Не жилец девчонка-то... Долго не протянет...

— Как не жилец?! Почему?!

— Почему... почему... Молока-то у матери в грудях нету... вот почему. А девочка недоношенная, разве ее без материнского молока выходишь?

Зинаиду Павловну чуть ли не насильно заставляли есть, побольше пить чаю с молоком. Маруся-счетоводка сбегала в соседнюю деревню на колхозную пасеку, выпросила горшочек меду. Матвеевна варила настой из каких-то особых трав, от которых «у самых сухогрудых молоко приливает».

Ничего не помогло. Молоко у Зинаиды Павловны не приливало. Девочку поили подслащенной водой, разведенным коровьим и козьим молоком. Она срыгивала и, разевая большой голодный рот, кряхтела и чуть слышно похрипывала. Кричать, как положено новорожденным, она не умела. И соску сосать не умела.

На шестые сутки и похрипывать перестала.

Вечером пришла Онька Азаркина. Ее очередному «подосиновику» Валерке шел пятый месяц.

Толстый, спокойный, он лежал на Матвеевниной постели, благодушно озирая окружающий его белый свет.

Онька прошла в горенку, хмуро покосившись на лежавшую лицом к стене Зинаиду Павловну, молча вынула из корзины девочку, села в кухне у окна и, положив ее на колени, начала не спеша расстегивать пуговицы на груди кофты.

— Ладно... хватит спать-то... Спишь, этак-то и не заметишь, как помрешь...

Не переставая ворчать, она легонько шлепала Викторию по вялым, желтым щечкам, потом зажала пальцами крохотную пуговку носа.

Девочка, задохнувшись, широко открыла рот, сморщилась страдальчески, пытаясь заплакать.

— То-то вот... Держи рот-то пошире, глядишь, чего-нибудь и перепадет. — Легонько сжимая тугой коричневый сосок, она каплю за каплей вливала молоко в судорожно раскрывающийся рот девочки. — Давай, давай, работай! Твое дело телячье, глотай чего дают...

Девочка захлебывалась, молоко, булькая, пузырилось и стекало по подбородку и щекам на пеленку, но прошла минута, другая, и маленькая вдруг притихла, словно поняла, что от нее требуется.

Всхлипнула и наладилась дышать, равномерно сглатывая живительные капли.

— Ну, на первый раз хватит... — Онисья облегченно разогнулась и вытерла рукавом вспотевшее от напряжения лицо.

— Теть Гланя, возьми ее... Я на ферму сбегаю... Валерка сытый, теперь долго будет дрыхнуть. Кинь мне на полу постелю, я у вас заночую. Ее теперь надо часа через полтора кормить... Я так думаю: дня через два она грудь примет, сама будет сосать, никуда не денется.

Грудь Виктория приняла на третий день. Онисья даже охнула тихонько, когда слабенькие десны в первый раз чуть ощутимо сдавили ее сосок.

Молока у нее с избытком хватало на двоих. Валерка тянул, как добрый теленок. Дав ему отсосать «верхнее» молоко, Онисья прикладывала к груди маленькую. Она была искренне убеждена, что «самое сытное молоко то, что в грудях на донышке остается».

Кормить Викторию было дело канительное и требовало много времени. Сосала она вяло, с длительными передышками, а у Онисьи времени всегда было в обрез.

— У-у-у! Бесстыдница, лентяйка зловредная, работай давай, есть мне время рассиживаться здесь с тобой... — ворчала она, не давая маленькой засыпать раньше времени. — Успеешь выспаться, нечего глаза-то закатывать. Тебе братка Валера самые сливочки оставил, а ты нос воротишь...

Больше месяца приходила Онисья с Валеркой ночевать в теткину избу. По два-три раза в ночь прикладывала она маленькую к груди. Пока не приучили ее к соске. Тогда можно стало, надоив полную бутылочку молока, пойти спать домой, чтобы ранним утром забежать покормить девчонку грудью и со спокойной душой идти на работу.

Труднее было с дневным кормлением. Время подошло самое горячее. Стадо перевели в летний лагерь, а это туда и обратно, считай, не меньше пяти километров. В телятнике после весеннего растела работы тоже было по горло.

Прикинув на глазок распорядок предстоящего рабочего дня, Онисья с утра отдавала распоряжения «своим парням» — Саше и Женьке.

— К десяти часам притащите ребят в телятник, я с утра там буду, в обед дома покóрмите: я надою обоим, глядите только, чтоб не закисло, ставьте бутылочки в холодную воду. А к пяти часам чтобы обои были в лагере; я домой только после вечерней дойки доберусь...

Сначала «парни» таскали ребят на руках, потом дед Андреевич сплел вместительную корзину-коробок, укрепил ее на деревянных ошинованных железом колесах — получилась великолепная тележка.

Теперь Саша и Женька могли чередоваться, транспортируя сосунков на кормежку к мамке Онисье.

Лето у парней выдалось трудное. У Женьки на руках Валерка, рыжий кудряш, «подосиновик» Андрей. Мать целыми днями пропадала на работе, вся домашность лежала на Женькиных плечах.

Не легче было и Саше. Матвеевну с фермы не отпускали. И после возвращения фронтовиков рабочих рук в колхозе не хватало.

Бабушка Нина Семеновна лежала пластом и требовала ухода. Она молила себе смерти, но избавительница-смерть пришла к ней только под осень. Лето выдалось сухое и жаркое. Без обильного полива в огороде все посохло бы и погорело. От коромысла с тяжелыми ведрами у Саши к ночи отнимались руки, по-стариковски разламывало поясницу.

Зинаида Павловна долго болела. Саше приходилось хотя бы на три-четыре часа в день открывать библиотеку. Агитаторам нужно было ежедневно выдавать свежие журналы и газеты, приходили из бибколлектора посылки с новой литературой, ее требовалось без промедления обработать и подготовить к выдаче тем немногочисленным читателям, которые и в летнее время не могли обходиться без книг.

Но больше всего и времени и заботы отнимала у Саши Виктория. Крохотная, дохленькая, беспомощная, она вызывала в нем не любовь, а какую-то мучительную, тревожную жалость.

Он понимал, что мать больна, что она раздавлена горем. Он очень любил ее и жалел и в то же время никак не мог себя пересилить: все время пристально и настороженно следил за ней. Как нехотя встает она с постели и с равнодушным, словно окаменевшим лицом берет маленькую на руки... Как брезгливо отбрасывает в угол мокрые пеленки. И все молча.

Ни разу не запела она, укачивая дочь, ни разу не заговорила с ней тем смешным ворчливо-нежным голосом, каким воркует над Валеркой и Викторией тетя Онисья.

И с тетей Онисьей она никогда не перекинется словом, хотя и бабушка Гланя и все другие говорят, что это она — тетя Оня — «вытащила девчонку из могилки».

Саша уже многое понимал, но еще не дано ему было понять, какое тяжелое ревнивое чувство вызывает в Зинаиде Павловне эта чужая, грубая женщина.

Зинаида Павловна уходила из комнаты, чтобы не видеть, как, вывалив тяжелую, несомненно, потную и грязную грудь, сует она в рот ее дочери сосок, наспех сполоснутый холодной водой.

Все в этой вызывающе развязной женщине коробило и отталкивало Зинаиду Павловну.

Чем она может гордиться, эта непонятная женщина, с ее неизвестно где и от кого прижитыми «подосиновиками»?

И что связало ее Сашу — умного, развитого мальчика — с этим странным семейством, с молчаливым, диковатым Женькой?

Временами Зинаиде Павловне чудилось, что Саша все дальше и дальше уходит от нее, но даже и это пугающее чувство было смутным и поверхностным.

Опустошенная горем, она жила в замкнутом мире одиночества и неприкаянности, в стороне от жизни и интересов окружающих ее людей.

А время шло. Онисьины «сливочки» делали свое дело. Теперь Виктория уже не вызывала в людях чувства жалости.

Из недоношенного задохлика получилась горластая, веселая девчонка. И первый зубок у нее прорезался вовремя, и вот уже, уцепившись за перильца, она встает в деревянной кроватке, и гу́лит, и орет, требуя, чтобы кто-то взял ее на руки.

Прошло еще несколько месяцев, и всем уже казалось странным, как они могли раньше обходиться без этого смешного колобка, что целый день путается под ногами, кричит, воркует и никому не дает покоя.

---

«Милое мое двоюродное чадо! Ты напоминаешь одну приятельницу моей далекой юности. Мне в те времена было всего сорок лет с небольшим гаком, а ей уже исполнилось два года.

Жили мы по соседству, и она требовала, чтобы я по вечерам приходил рассказывать ей сказки.

Как все влюбленные, я, старый бобыль, рабски выполнял все прихоти этой своенравной особы.

И вот, расскажешь ей, бывало, сказку до конца, ну, например, как легкомысленный Петушок — золотой гребешок, наученный горьким опытом, становится умным и послушным, и уже никакие сладкие арии соблазнительницы Лисы под окошечком Петушка не могут больше толкнуть его на рискованные авантюры. В общем, доведешь сказку до ее полного логического конца, а маленький деспот, подняв на тебя синие, очень серьезные глаза, говорит: «А потом?»

Терпеливо объясняешь, что все, сказке конец, что Котик-братик и Петушок — золотой гребешок стали жить-поживать и добра наживать, а она, дослушав, нахмурится и еще более требовательно и настойчиво спрашивает: «А потом?!»

Ну, конечно, это была Виктория. Ты хотела узнать, откуда взялась она в нашей Дубровке, я тебе рассказал, а ты теперь в своих письмах упрямо твердишь: «А потом?»

Не забывай, что прошло двадцать пять

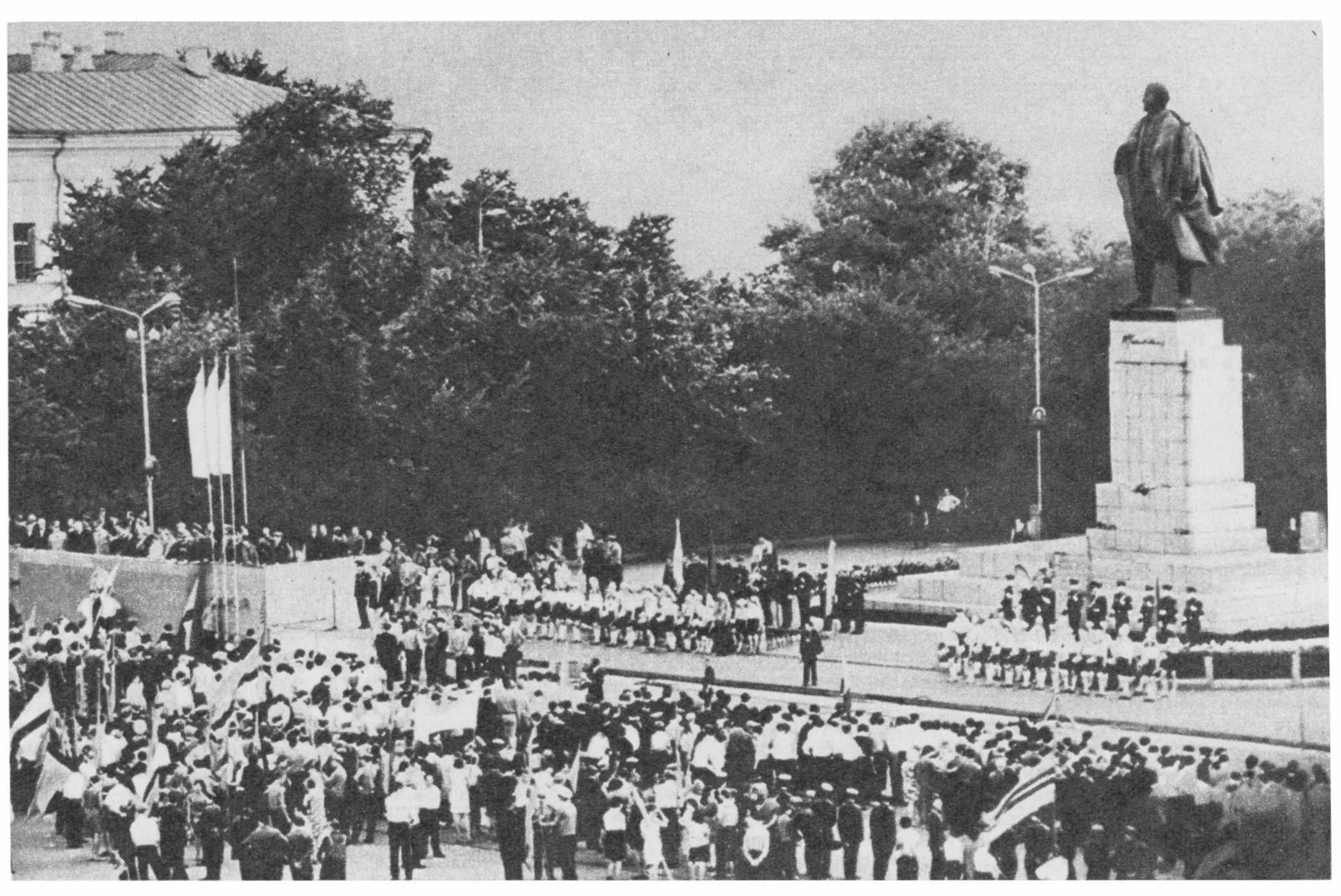


Фото А. Овчинникова (ТАСС).

# ПЯТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

**Готовясь к пятому Всесоюзному слету участников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, армия молодых следопытов собрала волнующие свидетельства героической истории нашей Отчизны.**

**У массового патриотического движения советской молодежи своя история, свои традиции. Весной 1965 года, в канун празднования 20-летия великой Победы советского народа над фашизмом, состоялся первый слет, и с той весны ни на один день не прерывался поход, лишь множились ряды его участников.**

**...Пять дней Ульяновск был столицей молодежи. В день окончания слета на главной площади города, носящей имя великого Ленина, состоялись торжественная манифестация и всесоюзный митинг молодежи, в которых участвовали тысячи юношей и девушек.**

лет. Рассказать, как человек родился, можно в двух-трех письмах, а как прожил он самую значительную — первую треть своей жизни — не так-то просто.

Что было потом? Зинаида Павловна еще несколько лет работала в нашей Дубровской сельской библиотеке, затем при районном Доме культуры была открыта музыкальная школа, и Зинаиду Павловну перевели в райцентр. Саша тогда уже учился в городе в сельскохозяйственном. И Женя Азаркин учился с ним вместе, только были они на разных факультетах.

Саша вернулся в наш колхоз агрономом, а Женя — механиком. Перебравшись с Викторией в районный городок, Зинаида Павловна приняла музыкальную школу. Любимая работа, приличное пианино, поступившее в полное ее распоряжение, новые интересные знакомства — все это было для нее, образно выражаясь, подобно струям живой воды.

Похорошела она на диво, распрямилась, зацвела зрелой красотой сорокалетней женщины.

«Взойдет солнышко — росу высушит...» Вскоре Зинаида Павловна вышла замуж за хорошего человека. У них родился мальчик, его назвали Павликом.

И Саша и Виктория к отчиму относились с уважением, потому что был он человеком добрым и разумным.

Виктория называла его дядей Толей. И маленького Павлика она тоже очень любила.

Но... Саша, приезжая на каникулы или на летнюю практику, гостил у матери два-три дня, а потом уезжал «домой», в «свой колхоз».

К нам, в нашу Дубровку. И прихватывал с собой Викторию. Оставить ее он не мог, потому что, наоравшись до хрипоты, она все равно убежала бы следом за ним пешком.

Саша для нее был не просто старшим братом. Он был и отцом, и нянькой, и учителем, и главным судьей всех ее прегрешений.

А наша Дубровка для ребят Полонских была родиной. Здесь под могильными холмиками лежали Павлик и бабушка Нина Семеновна. Сюда в последний раз приезжал отец. Здесь были баба Гланя, и мама Оня, вытащившая Викторию из могилы, и Женька с братьями-«подосиновиками», и родная школа, и «наш» колхоз.

Закончив учебу, Саша вернулся в Дубровку с милой сероглазой женой. Молодым не пришлось долго убеждать Зинаиду Павловну отпустить Викторию сначала «погостить», а затем и вообще оставить ее на полное Сашино попечение.

Виктория, окончив нашу школу, пошла в пединститут и теперь преподает литературу в Дубровинской десятилетке. Это ей я передал свой 7-й «А», в котором был классным руководителем перед выходом на пенсию.

Ну вот и сказке конец.

И все же не сомневаюсь, что в следующем твоем письме я прочитаю очередное: «А потом?» Другими словами, теперь ты захочешь узнать: почему Виктория до сих пор не замужем?

Дружочек мой, на этот вопрос вряд ли тебе кто-нибудь сможет ответить, в том числе и сама Виктория.

Многие матери взрослых сыновей охотно назвали бы Викторию своей невесткой. И, уж конечно, больше всех других хотели бы этого бабушка Глафира Матвеевна и мать трех братьев Азаркиных — Онисья Родионовна.

Не зря же она двадцать пять лет назад ворчала, любовно прикладывая к груди замухрышку Викторию:

— Работай давай, работай! Питайся да расти здоровше. Вон их, женихов-то, полна изба. Любого из троих выбирай — не просчитаешься. Гляди, вон Валерка-то... какой байбак растет. Чернобровый да кудрявый, характером покладистый — первый сорт женишок...

Но недаром в народе чужих ребят, вскормленных одной грудью, называют молочными братьями.

Скромный, красивый Валера для Виктории был и остался только братом.

А Женя наравне с Сашей мог и наругать, и шлепка хорошего отвесить, и не отпустить в кино за какую-нибудь провинность.

Но между Женей и Валерием есть еще третий. Лесник Андрей, таежник, охотник, рыжий бродяга.

Но тут уже начинается трудная и непонятная для нас, грешных, история.

Могу тебе только шепнуть по секрету об одном забавном открытии, которое я недавно сделал.

Оказывается, что не только в женщинах, но и в некоторых представителях сильного пола под старость лет просыпается... сваха!

Так и подмывает милому недогадливому парню или дорогой твоему сердцу девчонке подсказать, ткнуть перстом в нужном направлении.

А потом сидеть, и любоваться, и воображать, что это ты помог двум недотепам найти путь друг к другу.

Но сейчас, поверь, никто не ответит на твой вопрос, что было потом, после того, как Виктория, подкараулив Андрея на старой просеке, швырнула молчком ему под ноги нераспечатанное письмо. Боюсь только, что никакая самая энергичная и талантливая сваха не в силах помочь этим двум упрямым дуракам просто только протянуть руки и, как драгоценный дар, взять в ладони свое настоящее большое счастье, что уже много лет бродит рядом с ними».



Остров Юра. Стрелкой указан лагерь, в котором сидел Кепесис.



# ПРОМЕТЕИ

**Димитриос ТУСЛЯНОС, греческий публицист**

Январь 1970 года. Несколько дней подряд на Леросе, одном из островов Эгейского моря, где афинская хунта держит в концлагере тысячи героических патриотов, шел холодный дождь. Человек высокого роста, лет пятидесяти, выходит из дверей концлагеря и, еле передвигаясь, под усиленным конвоем жандармов, пересекает скалистый участок лагеря. С трудом поднимает свои закованные в цепи руки, чтобы заслонить ими очки от капель дождя. Острая боль в пояснице искажает его обычно добродушное, приветливое лицо.

— Поднимать руки запрещается! — властно кричит жандарм и наводит на седую голову пистолет. Но узник не спешит опустить руки: угроза жандарма не внушает ему страха.

У ворот лагеря притормаживает специальный фургон с ощетинившимися по углам автоматами.

— Никандрос Кепесис? — спрашивает офицер, укрываясь от дождя под навесом.

— Да, я всегда был Кепесисом. И при нацистах был Кепесисом.

Ему снова устраивают проверку: фамилия, имя, отчество... На небольшой папке «дело узника», куда заглядывает офицер, крупно написано красным карандашом: «Особо опасен».

Заключенный тяжело влезает в фургон. Его движения замедлены оковами. С лязгом захлопывается железная дверь. Кепесис с трудом садится на пол. Боль раздирает позвоночник; она не отступает все два часа, пока его везут от лагеря до тюремной больницы.

Тюремная больница, она ничем не отличается от тюрьмы. Тот же остров, те же решетки на окнах, тот же часовой под окном.

Несколько дней назад здесь скончался друг и соратник Кепесиса, Никос Галатис, с которым они в годы второй мировой войны начинали борьбу в Сопротивлении. В день смерти Галатиса политические узники Лероса в знак протеста объявили 48-часовую голодовку. Два дня они не выходили на прогулку в обнесенный колючей проволокой лагерный двор. В узких окнах камер вывесили траурные флаги, пока корабль, увозивший тело их товарища, удалялся от берегов Лероса.

Кепесиса закрыли в камере тюремного лазарета. Он не верит официальному заключению медиков, как не верит здешним врачам, присланным афинскими властями «обрабатывать», а не лечить политзаключенных. Галатис успел перед смертью сообщить, что врачи от него требовали отречения от политических убеждений. Заключенные протестовали, они написали министру юстиции: «...афинские правители, узурпировавшие власть с помощью американского оружия, держат нас в условиях строжайшей изоляции. У нас нет никакой связи с внешним миром. При чрезмерном усердии охранников, исполняющих циркуляры правительства, власти концлагеря методично и хладнокровно расправляются с нами. Смерть нашего товарища Галатиса венчает скорбный список страшных злодеяний хунты. Вы несете полную за это ответственность...»

Кепесис знает, что этот унылый дом может стать и для него последней остановкой в жизни. Много раз ему приходилось выступать против произвола. В пирейской тюрьме он сделал бумажный рупор и из-за решетки во весь голос призвал народ выступить за спасение жизни заключенных. Здесь же его не услышат, кругом море, скалы да змеи, кишащие на острове. Лерос — символ беззакония, фашизма, смерти.

...Роковой день 21 апреля 1967 года потряс всю Грецию. Афины превратились в огромный полицейский участок. Десятки тысяч людей, женщины, старики и дети, согнанные на закрытые стадионы, долгими часами ждали своей очереди, пока полицейские фургоны не увезут арестованных к глухим дальним причалам пирейского порта. Оттуда специальные доки — плавучие тюрьмы везли сотни людей на острова Эгейского моря — Юру и Лерос. Вина этих людей была лишь в том, что они любили свою Грецию.

Трагедия Греции, начавшаяся почти сразу после освобождения страны от нацизма, продолжалась. Матери состарились в ожидании своих сыновей, брошенных в тюрьмы на двадцать лет за стремление к свободе, и, не успев обнять своих детей, снова их потеряли.

Кепесиса отправили на остров Юру; в прошлом он здесь сидел несколько лет еще в 50-е годы. Скалы поднимались уступами, образуя естественные укрытия. С трех сторон Юру окаймляют горы, и концлагерь «Ормос» выходил к морю лишь одной стороной. Палатки, где прежде жили узники, защищались от постоянных ветров скалами...

Теперь же прямо в нескольких десятках метров от берега высится громада современной крепости, окруженная бастионами.

В этой крепости Кепесис просидел долго; сразу после апреля 1967 года его вместе с двумя тысячами греческих патриотов хунта засадила в эту тюрьму. И только мощная волна международной солидарности заставила хунту ликвидировать адский концлагерь. Но вместо Юры был создан новый лагерь смерти на острове Лерос, куда снова бросили Кепесиса.

...Жизнь Никандроса Кепесиса связана с борьбой его народа. Детство и юность прошли в большом пролетарском городе Пирее. Вокруг Пирея во все стороны, спускаясь прямо к морю, шли кварталы бедноты. Здесь по заданию компартии Никандрос начинал свою политическую работу. Он создал подпольные организации и сплачивал силы антифашистов Пирея в борьбе против гитлеровских оккупантов. Никандрос писал листовки, сам размножал их на ротаторе и разносил по явкам. Но Кепесис все время рвется в Парнасские горы: он молод и стремится с оружием в руках сражаться в рядах Освободительной армии ЭЛАС.

И тогда в ответ на его просьбы руководство партии отдает приказ создать отряды ЭЛАС в самом Пирее.

Вскоре Кепесис стал командиром городских отрядов. Юношей он мечтал быть моряком, потом — учителем. А стал профессиональным революционером. «Разве это профессия, сынок?» — огорчалась мать, поняв, что Никандрос не будет ни моряком, ни учителем.

Он стал коммунистом и сознательно шел на суровые испытания. Он знал, что́ ждет его при гитлеровцах, но он боролся и побеждал.

После освобождения Греции от фашистской оккупации в 1944 году местная реакция с помощью английских войск жестоко расправилась с прогрессивными силами страны. Одной из первых жертв стал Никандрос Кепесис. Ему предъявили фальсифицированное обвинение в убийстве человека. Ни место, ни время этого «преступления» не были, конечно, указаны. Не была названа даже фамилия убитого. И тем не менее все это не помешало осудить Кепесиса на пожизненное заключение.

Его страстная речь на суде была уничтожающим обвинением предателям родины и демократии.

— Те, кто, не щадя жизни, защищал нашу страну, кто борется за интересы народа, ныне предстают перед судом,— заявил он.— Зато у власти стоят те, кто сотрудничал с гитлеровцами, кто совершил бесчисленные злодеяния!

Авероф, Эгина, Вурла, Керкира, Амфисса, Крит, Триккала, Халкида, Юра, Сотириа — десять страшных тюрем сменил Никандрос за время своего заключения, заживо замурованный в их бетонные стены и закованный в стальные кандалы. В послевоенной Греции все 120 тюрем оказались переполнены десятками тысяч политических заключенных. Сотни товарищей проводил он в последний путь, когда их уводили на расстрел.

— Сколько лет ты в тюрьме? — спросил однажды Кепесиса главный надзиратель Браимис.

— Тяжелые тюремные ворота успели трижды сгнить. Дерево и железо не выдержали плесени и сырости за те девятнадцать лет, что я здесь, а я живу! — ответил Кепесис.

«Как они ухитряются выживать?» — удивлялся генеральный инспектор греческих тюрем Катаподис, известный тем, что за 10 лет его руководства делами тюрем в министерстве юстиции в греческих казематах умерли 522 политзаключенных.

— Вы хотите знать, почему мы еще живы? — ответил инспектору Кепесис.— Мы верим в правоту нашего дела — вот почему мы живем!

Человек неутомимой энергии, страстный борец за свободу своей родины, Кепесис и в тюрьмах продолжал учить марксизму своих товарищей. Обладая уникальной памятью, он знал наизусть целые главы из ленинских работ, и, когда наступала глубокая ночь, тихий голос Кепесиса нарушал тишину камеры: это начиналась «Ленинская читка».

Все 19 лет ждала Кепесиса мать. Солдаты привыкли видеть у ворот афинской тюрьмы Авероф постаревшую, седую женщину в черном. Она приходила и трепетно ждала, глядя с надеждой на тюремные ворота. Потом его увезли из Афин, и письма от матери стали приходить редко. Но в них было так много ласки, тепла и материнской заботы, что Никандрос еле сдерживал слезы благодарности. Я видел эти письма, Кепесис давал мне читать их. Одно мне запомнилось надолго. Сквозь жирные, небрежные росчерки цензуры пробивались нервные буквы. «Дорогой мой мальчик! (Он всегда оставался для нее мальчиком.) Была у министра. Пошла просить за тебя, да вдруг заговорила твоими словами: «Наши дети боролись против немецкого фашизма. Они это дела-

# ЖИВУТ В ЭЛЛАДЕ

ли для всеобщего блага. Разве это плохо?» Министр просто остолбенел. Свою речь я закончила уже на лестнице. Ты береги себя. Главное, чтобы ноги были сухими. Я буду терпеливо ждать, сынок, и дождусь тебя».

Как-то матери разрешили с ним повидаться. Разделенные решеткой и частой железной сеткой, они смотрели друг на друга с любовью и радостью.

— Что нового из страны надежд?

— Строят, сынок, строят... Люди там красивые...

Лицо Кепесиса озарялось светом. Они понимали друг друга. «Страна надежд» на их языке была Советским Союзом. Но и таких разговоров не терпел тюремщик, он прерывал свидание...

За время пребывания в камере Никандрос заболел спондиллезом. Долгое время он не мог передвигаться. Егс дважды оперировали. И, наконец, в 1964 году они выпустили его на волю поседевшего, состарившегося, но по-прежнему с бодрою душой и горячим сердцем.

Старушка ждала сына у тюремных ворот. Она смотрела и не узнавала его.

— Мама, это я...

— Сын мой, как же ты изменился!

Репортеры столичных газет собрались у ворот тюремной больницы «Сотириа».

— Какие первые слова вы произнесете на свободе? — спросил его журналист.

— Приношу мою благодарность греческому народу за его неустанную борьбу, ради которой я выжил и освобожден после девятнадцатилетнего заключения. Я готов продолжать борьбу изо всех моих оставшихся сил за мир, демократию, независимость моей родины.

— Вы уже потеряли самые лучшие годы жизни, вы не жалеете об этом?

— Нет. Эти годы не прошли даром ни для меня, ни для греческого народа. В тюрьмах и концлагерях закаляются борцы, там пишется история нашей борьбы.

Но вскоре пришло время новых испытаний. В апреле 1967 года Кепесис снова арестован. Черные полковники вернули его туда, где он провел почти два десятилетия.

Тревожное сообщение вырвалось из концлагеря Парфени на острове Лерос: Никандрос Кепесис тяжело болен. Он страдает расстройством нервной деятельности — следствие тяжелых условий, в которых содержится узник.

Совсем недавно он сам сообщил на волю:

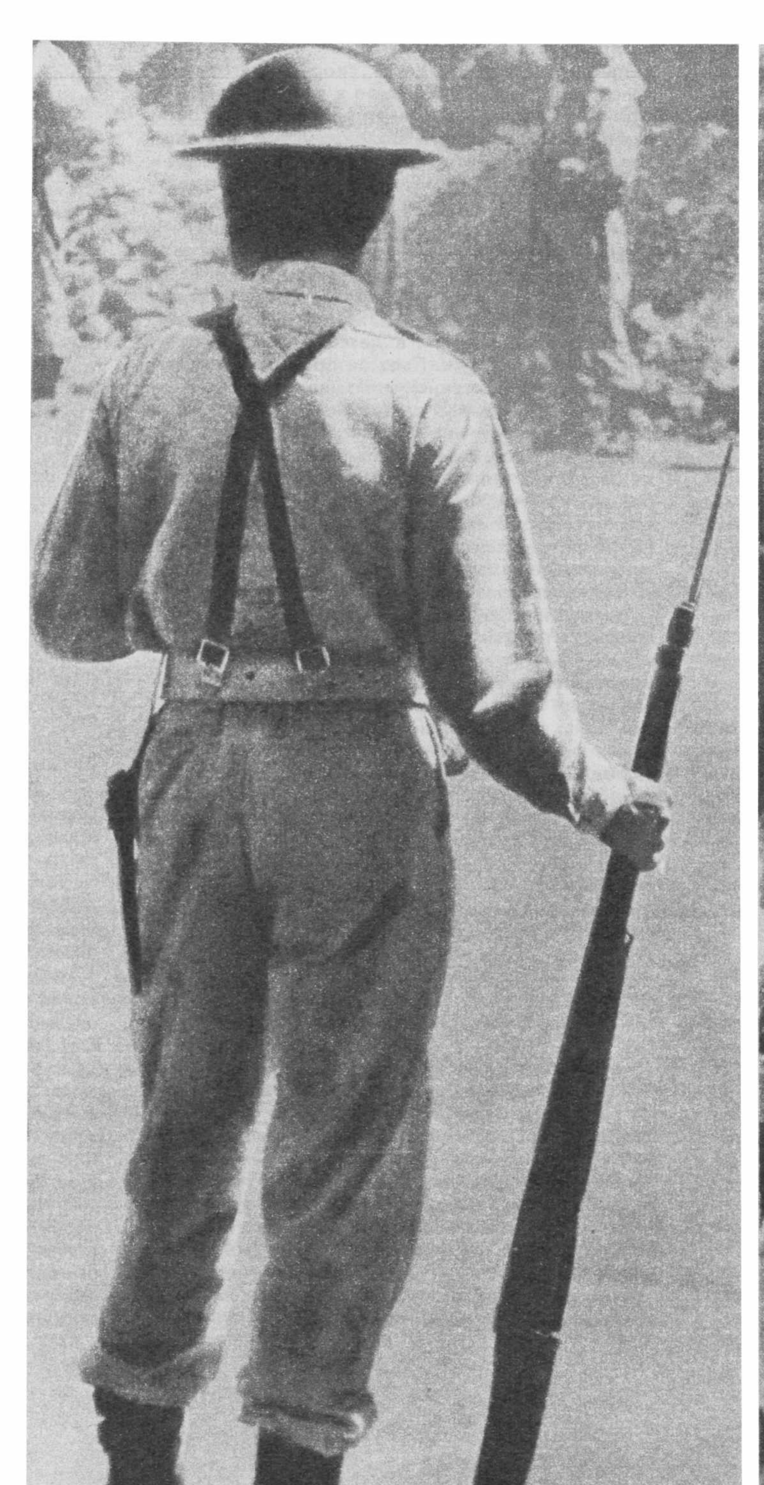
— Меня перевезли в тюремную больницу, но не оказали медицинской помощи. После ряда анализов доктора сочли необходимым перевести меня в специальную клинику. Я ждал места в неврологическом диспансере, но неожиданно меня отправили обратно в концлагерь! Цель хунты — уничтожить нас физически. Я обращаюсь к международной общественности с призывом: «Встаньте на защиту узников, которые мучаются и страдают во имя свободы своей родины. Требуйте свободы греческим политзаключенным!»

...Я рассказал о необыкновенном человеке, которого хорошо знал. 12 лет мы сидели с ним вместе в восьми тюрьмах и лагерях. Я преклоняюсь перед мужеством и стойкостью этого человека. Для меня он на всю жизнь останется символом моей прекрасной многострадальной родины.

Недавно греческая подпольная радиостанция «Голос правды» сообщила, что Никандрос Кепесис с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже. Я тревожусь за его жизнь, а также за жизни двух тысяч греческих демократов, томящихся в тюрьмах хунты...

Нас воодушевляет всемирная борьба людей доброй воли, требующих прекратить репрессии в Элладе, освобождения греческих патриотов, освобождения Никандроса Кепесиса.

**Перевод с греческого И. Мироковой**





**Вот она, нынешняя Греция.**

Николай ГРИБАЧЕВ

Рассказ

Рисунок П. КАРАЧЕНЦОВА.

# ЕРОХА-ТИМОХА

Ероха и Тимоха сговариваются о выпивке заранее, потому что живут не в соседстве, не рукой подать, телефонов же, само собой понятно, нету, их всего три на село. И встречаются возле нового в центре села, с широченной стеклянной стеной, магазина в разное время дня — иногда с утра, если выходной, чаще к вечеру, а бывает, что и в полдень, при жаре и духоте, когда каждая курица и поросенок тени и холода ищут. Сойдясь, не здороваются — ни рукопожатия, ни кивка головой. Считается, что для их отношений это не имеет значения, только попусту времени перевод.

— Ну, как,— спрашивает Тимоха,— сфинансируемся?

Ероха просто лезет в карман или, если не при деньгах, огорченно разводит руками. Тогда начинается сложное, до копейки, сведение счетов — на ком, какой и с какого времени долг и когда будет отдача, хотя кредитование допускается самое малое, в пределах двух «сабантуев». Брать водку поручается Тимохе, как бойкому на язык: наговорит продавщицам сорок бочек арестантов, последнюю бутылку, если ее даже по заказу держали, выклянчит, а то и расшумится, пригрозит жалобу накатать. А жалоб боятся, запрос пришлют — еще ничего, отбрешутся. Хуже, как расследование раскапителят да комиссию прикомандируют. Их, комиссии, даже по анонимкам сколачивают и гоняют столько, что можно бы и поменьше — дешевле выходило бы. Нет, от жалоб спаси, оборони, мало и так топотни да беготни, что ли!

Ероха тем временем уходит за магазин, где на краю картофельного поля новые прутики ракиты. Ни стаканов, ни рюмок у них нет в заводе, пьют, побулькивая, из горлышка, вытираясь рукавом и попыхивая сигаретным дымком. Считается, что закуска — лишний деньгам перевод, поесть и дома можно, а к тому и хмель не тот, «градус понижается». Начинает, содрав зубами металлический колпачок, Тимоха.

— Снимаю пробу,— всегда одно и то же говорит он, отпивая в три глотка ровно четверть содержимого. Глоток у него точный, оттренированный, хоть мензуркой проверяй.

— Хороша-ша! — шумно вздыхает он, обтерев губы и передавая поллитровку Ерохе.— Прямо диво, каждый раз ее лучше и лучше делают... Э...э, стой!

Ероха до водки жаден, меры не чувствует и выпивает свою долю в один заход, недоглядди — от чужой урвет. Тимоха при этом всегда безотрывно вцепляется глазами в бутылку, следит, вовремя упреждает, а то и просто вырывает посудину из рук.

— Лакаешь, как сбродный кот чужое молоко,— укоряет он.— Я вот на те же деньги двойное удовольствие имею, а ты одно. Алкоголист...

Ероха в самом деле близок к тому. Ростом он пониже среднего, черняв, взгляд, как говорят у нас, «ницый» — к земле, в глаза другим людям смотреть не любит. Одет всегда примерно одинаково: зимой — ушанка, неизменно расхлюстанное, черное, с засалкой по рукавам и сбитым в колтуны ватином полупальто, валенки с галошами; летом — клетчатая рубашка, тяжелые суконные брюки с набегом на стоптанные ботинки, на голове кепка неопределенного цвета, когда-то скорее всего светло-серая в полоску. Главное в его характере — молчун и тихий, без колготности и шумливости, пьяница. Жена у него доярка, у нее хороший заработок, на котором, собственно, и семья держится, а сам Ероха, хотя ему тридцать шестой, во цвете, никакой специальности не имеет — куда пошлют, туда, ни удовольствия, ни обиды не выказывая, идет. Настоящее его имя — Михаил, но об этом уже не все помнят, зовут по кличке — Ероха да Ероха. И жена тоже. Он не обижается. Откуда пошла кличка, неизвестно, притачали в детстве по баловству, так и не отодралось. Пьет он при всяком удобном случае, постоянно испытывая к тому непереборимые позывы и побуждения; но чаще всего в получку и с неделю после. Зная его слабость, пытались выдавать деньги жене. Ероха спорить и чинить скандалов не стал, просто бросил ходить на работу, рук же для дела в колхозе не хватает, каждая пара на счету, особенно летом, так что ничего не попишешь, потихоньку дали задний ход, отступились от него, и все въехало в привычную колею.

Тимоха же ему вроде бы в полную противоположность, так что на первый взгляд даже удивительно, с чего повязались. Возрастом Тимоха чуть не вдвое старше, уже, как сам изъясняется, «на пензии». Однако крепок, из одних жил, выше Ерохи на голову, белобрыс; длинноватое, с тяжелым подбородком лицо молодо розовеет, хотя все в мелких морщинках. На средних своих летах он тоже, случалось, запивал, но по редкости и отходчиво, работу ломал безотказно, теперь же стал придуривать.

— Должон я свою норму выпить,— объясняет он.— Не имею такого распоряжения, чтобы другим оставлять.

— Гляди, водка здоровья не прибавляет.

— Мне прибавки не надо, не нуждаюсь. На своем перебьюсь.

— А как, если рак? Он таким печенку сосет.

— Земля не разбирается, все одно примет...

Отняв бутылку, Тимоха любовно оглядывает ее на просвет, допивает не спеша, глотнет — затянется сигареткой, глотнет — затянется. Хмель без закуски накидывается быстро, маленькие, яркой синевы глазки Тимохи понемногу соловеют и начинают слезиться, всякие будничные дела отступают в неразличимую даль: дом, который надо достраивать, потому что лесу дали и сруб уже стоит; хлопоты по добыванию силикатного кирпича на фундамент и все прочее,— а на передний план напирают другие мысли, приятные, начинает он себе казаться помоложе, чем есть, позначительнее. Тянет похвастаться, покрасоваться удалью, неважно, что один Ероха тут, неважно даже, что смотрит в землю и неизвестно, слушает или что свое в понятиях мусолит.

— Меня на фронте, знаешь, как уважали? — начинает разогревать скудное воображение Тимоха.— Полковник говорит, бывало: ты у нас, Тимоха, сила, ты... ну, одним словом! Потому что Тимоха, как гвоздь: сказал — сделал, сказал — сделал... без трень-брень... В ночь, в полночь — раз, два, и готово! Медали даром не дают, а у меня их целая горсть. Не ношу, правда, не выхваляюсь, но имею — честь по чести... Заработал. В Москве ветераны съезжались, меня вот как приглашали, телеграмму за телеграммой отбивали. Да неспособно мне было, как раз, понимаешь, сруб плотники доделывали, а без своего глазу его не бросишь, наляпают сикось-накось, горбатое на кривое...

— Ага,— со всем сразу соглашается Ероха.

— Говорили, что одного человека знающего прислать собираются, на карандаш от меня все взять для истории...

— Ага.

Ероха, чувствуя, как в приятном тепле и зуде сомлевают ноги, садится на травку, прислоняется спиной к раките, шершавой, в старых топорных шрамах, в ссадинах, наставленных привозящими товар грузовиками. Спине неудобно, щекочет и колет, но все лучше, чем стоять. По стебельку возле ботинка, временами взмахивая крыльями и недовольно жужжа, ползет майский красноголовый жук, сбитый ветром с листа, и Ерохе хочется сшибить его. Но лень. Дальше мысль его перебивается резким хлопком над головой, словно выстрелили из пушки, и он знает, что это идет реактивщик, и обычно, когда трезв, он, изменяя привычке, поднимал голову, искал на синеве белый дымовой след, а теперь тоже нет охоты.

— Говорит мне генерал,— продолжает, забираясь выше и выше, Тимоха,— говорит, что хочешь, проси — водку там, щиколад или дарственный пистолет, но достань ты мне живого фашиста, языка, если по-военному... Из самого высокого штаба строго-настрого приказали: мол, юшка из носа, а добывайте... На тебя, Тимоха, надежда наша, другие против тебя — мымрики, и более ничего!.. Ну, водки я не стал востребовать, нельзя ее потреблять к такому делу, зрение начинает подводить, а щиколаду на дорогу набрал... У Тимохи сказано — сделано, три дня ужакой вился, но языка привел... Офицера!..

Тимоха сладко щурит глаза, видит себя молодым, бравым — из-под пилотки чуб волной, на плечах погоны. И генерал, седой, весь в золоте, так рад, так рад, что не знает, куда посадить Тимоху...

— К Герою представили,— бормочет он возбужденно, быстро, сбивчиво.— Оформили, не отходя от кассы! Потому, что не мог никто, кишка тонка... Один Тимоха...

Разволновавшись, вытряхивает из пачки на ладонь очередную сигарету, быстро, раз за разом, затягивается, заходится в кашле, с хрипотой и отплевыванием, так что перегибается в поясе. Отплевавшись, отхрипев, добавляет потише:

— Тыловики, сволочи, затеряли бумаги на Героя... Может, еще найдутся, теперь обратная проверка идет, чтобы кто что заслужил — получи...— Покосившись на Ероху, который, пребывая во блаженстве, начинает придремывать, добавляет: — Ну, два ордена все же дали... Сам, небось, видел, я их на праздники как-то надевал...

Ни орденов, ни медалей Ероха у Тимохи никогда не видел. По той причине, что существуют они только в воображении самого Тимохи. Он, Тимоха,— это тоже прозвище от фамилии Тимофеев — белобилетник, на фронте ни одного дня не был. Но так как вокруг все из воевавших, многие даже инвалиды по ранению, душу его томит неизбывная ущемленность, и под выпивку начинает он сочинять себе боевую биографию. И повторял он придумки свои так часто, что уже и сам начинает им верить, особенно под хмелем, и что горсть медалей лежит в сундуке, и два ордена, и к Герою представлен, но тыловики, бумажные крысы, затеряли документы. Время от времени он подбавляет в свою эпопею новые подвиги —



их подбрасывает радио и телевидение, поскольку книг никаких Тимоха не читал вот уже лет десять. Притом чем компания больше и чем лучше все всех знают, тем всего меньше выходит и у Тимохи и подвигов и наград, иногда всего одна и то неизвестно какая медаль. Если человек новый, кто из своих притом находится неболтлив, то ко всему прочему добавляется еще и офицерское звание, которое ему, Тимохе, будто бы присвоили в самом конце войны, так что и форму получить не успел...

С Ерохой никакой опасливости и утесненности у него нет, тут он дает себе волю на полный разгон, прибавляет и убавляет по усмотрению и настроению, понимая, что тот знает его жизнь в доподлинности, как облупленную луковицу, но, верит или не верит, слова поперек не выставит. Как ракита или теленок. Но при всем такой живой человек и компанейщик...

Первая волна хмеля, самая высокая и приятная, на ветерке скатывается быстро, остаток, затухая, подержится еще, но уже не в такое оживление мысли. Да и воображаемые жития свои Тимоха размотал, а больше с Ерохой балакать не о чем. На селе толкуют про новый колхозный Устав, про химию для удобрений, про шифер, про космос и всякую политику, но им это не в интерес и представляется во смутности. Кроме шифера, тут надо или не надо, держи прицел, пригодится. Газет ни один из них в руки не берет, если там нет разносной заметки или фельетона про кого из сельчан, последних известий они не слушают, а что заронится в уши мимоходом, так тут же и выронится. Беспросветнее их по той части разве бабка Емельяниха — ей уже под девяносто, плохо слышит и подслеповата. Однако, если в компании разговор такой ведется и свернуть его на более понятное не дают, Тимоха может, не вдаваясь в подробности, вставить и свое веское мнение:

— Епоха-а!..

Или, если толкуют о неизвестных ему политических деятелях или хорошо знакомых местных руководителях, припечатать:

— Игоисты!..

Но сейчас, вовсе выговорившись и начиная испытывать непонятную злобливость против своего напарника, Тимоха разражается окриком:

— Развалился, как хряк в луже! Иттить надо.

— Да чего? — сопит Ероха.— Побалакаем.

— Есть мне когда рассиживаться!..

С этого момента начинается для Тимохи новая полоса. Водку еще он покупать не станет, если бы и при деньгах был, такой у него установился порядок. Но и выпить еще он не прочь и поговорить тоже. Поэтому, не утруждаясь никакими там «до свиданиями», он уходит и шатается по селу, приглядываясь, не гостятся ли где, не стабунились ли по какому случаю к столу. Напав на такое происшествие, Тимоха заходит, не ожидая приглашения, подобострастно со всеми «ручкается», садится в сторонке на краешек стула, крутит в руках кепку. Просить, чтобы поднесли, не просит, даже малость поломается, когда нальют, но выпьет. А выпив, то ли напомнит скороговоркой о медалях, то ли и ничего не скажет, кроме спасибо, и уйдет, не ожидая вторичного подношения. Сознательно или бессознательно, но таким образом выбрал он самую для себя выгодную тактику, зная эту привычку, его и угостить поспешают без разговору, чтобы скорее избавиться, потому что, пока он тут, никакого лада не будет, пойдет перебивка на каждом слове, а то еще в полное описание подвигов пустится, и остановить не думай... Ну его к черту, рюмка не убыток, да зато отцепится!

Так шататься меж дворов может Тимоха и за полночь, пока ноги держат, и разговаривать сам с собой, со встречной собакой, забором или идущим мимо грузовиком. Однажды, рассказывают, он битый час поносил водоразборную колонку, потому что томила жажда, а рукоятки найти никак не мог. «Стерва,— лаялся он, и это было еще не самое забористое,— работу свою сполнять не желаешь... Разгильдяи вы все тут... Вот достану у фронтового приятеля мину и подложу — ка-ак дрызнет, будешь знать!..» Иногда он, бродя, поет — хрипло, фальшиво и всегда одну песню:

Поехал казак на чужбину далеку
На верном коне вороном на своем...

Засыпает он, добравшись ли домой, плюхнув ли по лету куда попало на улице или огороде, сразу и снов никаких не видит. Даже не верит, что есть такая штука — сон.

Ероха же всегда с места происшествия смирно идет домой и ложится в постель, если зимой, или, если тепло, забирается на чердак, засыпанный сухим осенним листом из сада. Лист старый, пылит нещадно при каждом движении, но мягок, приятно греет и дает еще какой-то особый запах — то ли перележалого, с гнильцой яблока, то ли болотного сена. Приткнувшись, подтолкав изголовье, Ероха закрывает глаза, и на дремности перед ним долго плывут приятные видения. Вот выпросит он у кого-нибудь бредень, хотя ясно, что бредень — снасть запрещенная и никто его не даст,— выпросит бредень, наловит с Тимохой в Круговой луже мешок карасей, жирных, по килограмму, выручит на свою долю рублей сорок, купит новые ботинки и кепку, а на какой ни есть остаток можно две недели выпивать без попреков от жены. Или дадут ему вместо сдачи, когда покупает сигареты, лотерейный билет, и выиграет он машину «Москвич». Почему нет? Другие выигрывают же! Вот и тракторист с Зареченской бригады «Москвич» выиграл, только ума не хватило деньгами взять, гоняет по тамошним пескам... Барин нашелся! Он-то, Ероха, востребует деньги, и достанет по блату шифера на сарай, жене в удовольствие, и еще пристроит к хате большую веранду, кругом стекло, и забор с улицы покрасит, а чего останется — на выпивку пойдет, месяца на три хватит...

На селе Тимоху и Ероху знают вдоль и поперек, до подкожности, уже не то, чтобы советовать, но и смеяться перестали над ними. И вот совсем недавно прошел слух, что они поссорились: кто-то, видно, в остраску, сказал Тимохе, будто в прокуратуре лежит на Ероху заявление: мол, работает плохо, пьет несуразно и вообще «подпадает под статью». Испитое, бедненькое, в щепоть взять, воображение Тимохи сработало. Он сказал Ерохе напрямик, без всяких воланов:

— Это вот последний раз нюхаюсь с тобой... Потому — под закон ты подпадаешь, пятнадцать суток отвалят, так еще бога моли. А мне ввиваться в твою веревочку никак нельзя, мне за такие дела могут пензию скоротить... Соображаешь, голова?

На что Ероха будто бы только и ответил:

— Ага...

Надолго ли, нет ли разлад: видно будет, скорее всего страхи пройдут и все потянется по набитой дорожке. Но на селе, если кого хотят изругать, обвинить в запивошестве и полной скудости всякого разумения, объединяют два этих имени в одно, ставшее нарицательным и крайне обидным:

— Ероха-Тимоха!..



Кубок в руках капитана московских динамовцев Виктора Аничкина.
Фото Б. Задвиля.



Вратарь тбилисских динамовцев Рамаз Урушадзе пропускает первый гол.

# ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК



Геннадий Еврюжихин настойчиво рвется к воротам.

Когда капитан московских динамовцев Виктор Аничкин, прижимая к груди заветный Кубок, пробегал мимо приветствовавших его трибун, ему кричали: «Подними повыше!»

Конечно, заздравный кубок надо поднимать повыше, и динамовцы, пронося его по стадиону, не только праздновали свою победу, но как бы поднимали тост за здоровье всего нашего футбола.

Очень хочется многочисленным поклонникам футбола, чтобы их любимая игра обрела наконец присущие ей яркие краски и потеряла столь не присущие ей флегматичность, замедленность, равнодушие. Над этим сейчас бьются и тренеры и футболисты, и встреча двух лучших команд, претендующих на Кубок СССР,— динамовцев Москвы и Тбилиси — была своеобразной пробой «пера». Смогут ли динамовцы показать острый, комбинационный, атакующий футбол? Пошел ли на пользу нашим футболистам мексиканский опыт? И ожидания стотысячной аудитории — зримой и многомиллионной, телевизионной, незримой — не были обмануты. Финальный матч на Кубок СССР прошел в яркой борьбе. Уже на 17-й минуте Владимир Эштренов открыл счет, сразу обострив схватку, но главные события развернулись после перерыва. Второй тайм оказался намного интереснее первого. И не только потому, что снова на 17-й минуте Геннадий Еврюжихин увеличил счет, казалось бы, окончательно решив судьбу Кубка, а потому, что наконец-то нашли себя тбилисцы. Вот когда мы увидели, что они по праву могли претендовать на успех. Прекрасную, целеустремленную игру показали наши гости, а когда Шота Хинчигашвили заставил капитулировать Льва Яшина и чаша весов матча снова заколебалась, зрители были целиком захвачены все нарастающим азартом этого спортивного спора. Немало трудных минут пришлось выдержать московским динамовцам и их тренеру Константину Ивановичу Бескову, который сам участвовал в четырех финалах Кубка в рядах динамовской команды. Но команда не только защищалась, а и настойчиво атаковала ворота тбилисцев, показав дружную, слаженную игру до самых последних мгновений матча, и в четвертый раз стала обладательницей Кубка СССР.

# КИНОРАЗВЕДЧИК

70 лет И. П. Копалину



— Жизнестойкость и красота новой кроны зависит от прочности и глубины корней,— сказал однажды Илья Петрович Копалин на площади Старого Мяста, древней части Варшавы, возрожденной из пепла искусными руками строителей.

Что такое корни и какую они играют роль в любой области нашего бытия, не исключая и творчества, ему хорошо известно... И не эти ли самые «корни» — откуда пошла, есть и, стало быть, будет советская земля — защищали мы в Великую Отечественную войну? И не только в Отечественную. Илья Петрович Копалин — свидетель, участник и летописец вообще всех, без исключения всех, самых значительных и крутых и плавных поворотов событий советской истории нашей Родины, ибо вся она прошла с 1917 года до нынешнего дня на его глазах и через его сердце. Ведь он ровесник века. Так что понятие «корень жизни» для него не простой звук. Мысль о том, что крона жизни, ее красота и яркость зависят от глубины и прочности корней, не пустая декларация. Это его убежденность, вера, пришедшие не только с опытом, но как бы впитанные с молоком матери.

Илья Петрович самый что ни на есть коренной россиянин. Он родился 2 августа 1900 года в деревне Павловской, Истринского района, Московской области. Поэтому, создавая свой первый самостоятельный фильм «За урожай», он прежде всего обратился к корням, к тому, что было ему ближе и дороже всего,— к деревне. Он вдохновенно рассказал о новых социальных процессах на селе, о крутых переменах в крестьянском быту и укладе — о коллективизации.

Свою творческую биографию один из зачинателей советского документального кино И. П. Копалин начал в 1924 году в «Культкино». Назывался тогда будущий народный артист СССР киноразведчиком. Что это за должность?

— В штатном расписании студии такой должности, конечно, не было,— говорит Илья Петрович.— Слово это звучит сейчас как-то наивно и не совсем понятно. А тогда оно было и значительным и совершенно определенным. В мои обязанности входило разведывать интересный материал для документальных съемок, я должен был определить его значимость, его кинематографический интерес, организовать съемку этого материала.

Он учился и работал под руководством Дзиги Вертова. За сорок лет самостоятельной работы (если вести отсчет с фильма «За урожай») им созданы десятки киножурналов, множество полнокровных документальных фильмов, являющихся образцом боевой публицистики, с годами не стареющей, публицистики, солидно стоящей в ряду подлинно художественных произведений.

Его глазу художника принадлежат такие документальные ленты, как «Город большой судьбы» — о Москве, ее бурном росте и развитии, о ее людях; «Один из многих», где впервые был введен звук. Кстати, он первым в документалистике применил и цвет и объем. Если Дзига Вертов приглашал работать «в пространстве с четырьмя измерениями (3 + время)», то Илья Копалин довел палитру документалиста до семи пунктов: (3 + время) + звук + цвет + объем.

Полнометражный фильм «День победившей страны» рассказал зрителю, как советский народ перековывал после войны мечи на орала. «Страницы бессмертия» возвращают нас в далекую пору гражданской войны, в трудные годы становления Советской власти.

Но больше всего Илья Петрович гордится документальными фильмами, посвященными Владимиру Ильичу Ленину.

Профессор ВГИКа, шесть раз лауреат Государственной премии И. П. Копалин продолжает готовить достойную кинематографическую смену. Его ученики с успехом работают не только в нашей стране, но и далеко за ее рубежами.

В свои 70 лет он бодр и полон творческих замыслов.

Борис ИВАНОВ



# ПЕВЕЦ СТРАНЫ СИНЕОКОЙ

В литературной жизни современной Советской России произведения Николая Шундика неизменно выделяются боевым, наступательным духом, публицистическим темпераментом и остротой, злободневностью проблематики. Начиная с первой своей книги — «На земле Чукотской» со скромным подзаголовком «Записки учителя», он написал ряд ярких повестей и романов о нелегкой и прекрасной судьбе тружеников нашего Севера и Дальнего Востока. «На севере дальнем», «Быстроногий олень», «Родник у березы», «С красной строки» — эти и другие произведения Н. Шундика многоплановы, драматичны, насыщены взрывчатыми, конфликтными событиями. Однако наиболее значительным среди всего, что создано писателем, представляется его последний роман «В Стране Синеокой».

«Не ищите, уважаемый читатель, конкретные областные границы Страны Синеокой,— говорится в предваряющем роман «Признании автора».— Азань мою я увидел и в центре России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке; особенно в том, в чем нельзя не почувствовать совесть народную, честь коммунистов, умение отрешиться от всего, что оказалось отжившим, путами». В самом деле, хотя бурные, героические и по-своему трагические события, описанные Н. Шундиком, заставляют нас вспомнить прежде всего одну, определенную, срединную область России, его Азанщина воспринимается как понятие широкое, символическое — «обозначающее отчий дом, где можно почувствовать себя в красном углу и на берегах Оки и даже где-нибудь на берегах Уссури».

Символичен в этом романе о современности и образ Есенина, к которому возвращается не раз писатель Евгений Браташ и который он пытается воссоздать в пьесе, фрагментарно представленной в тексте. Родниковая есенинская тема позволяет чище, яснее провести главную мысль произведения, мысль о величии новой России и ее свершений. Она звучит и в спорах героев — секретаря обкома Анатолия Петровича Соколова, председателя колхоза «Коммунар» Дениса Денисовича Ганина, знатной колхозницы Пелагеи Николаевны Комарковой, она выражена и в прямых публицистических отступлениях «от автора»: «Кто может отрицать полувековой подвиг нынешней России? И если ты, россиянин, где бы ты ни жил, находишься в своем мышлении на уровне века — ты не можешь не гордиться тем, что сотворил твой народ. Человек, отрекающийся от подвига своего народа, не носитель духа его, а осквернитель».

Этот утверждающий пафос, каким пронизан роман, дает возможность автору вести речь об очень сложных, противоречивых явлениях недавнего десятилетия, соотнося его с сегодняшним днем. Мы успеваем познакомиться со множеством героев, живущих в Стране Синеокой. Но один человек привлекает особенное внимание крупностью своей натуры, своеобразной складкой и цельностью характера, резкими контрастами света и тени. Это о нем, о его трагической судьбе размышляет Евгений Браташ. Это к нему сходятся нити мыслей различных людей, думающих и говорящих о нем кто с восхищением, кто с недоумением, кто с осуждением и горечью. Илларион Степанович Буянов, много лет бессменно стоявший во главе Азанской области и своей сильной рукой и суровым словом ведший ее от послевоенной голодухи к изобилию, бесспорно, центральная, заглавная фигура романа.

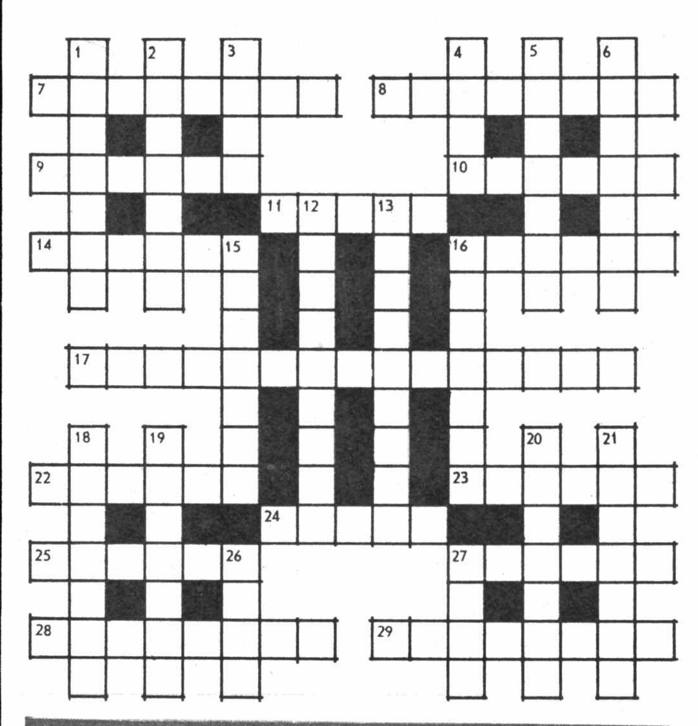
Крутой, иногда деспотический, он знает и верит, что идет по верному пути, когда от имени области рапортует о взятых обязательствах — дать за год три плана по сельскому хозяйству. С этого момента и начинает нарастать непримиримый конфликт не только между Буяновым, окруженным преданными ему исполнителями, и людьми вроде Анатолия Соколова, с горькой трезвостью оценивающими возможности Азанщины. Нет, Буянов выступает еще и против Буянова, против самого себя, долго не признаваясь себе в страшной ошибке, пока факты очковтирательства, показухи, приписок, позора не понуждают его приблизить последний час. Эти последние главы заключительной, третьей части «Страны Синеокой» написаны особенно сильно.

В «Стране Синеокой» поднят огромный пласт земли. С любовью и волнением сумел написать автор об Азанщине и ее людях. И в дни, когда Николаю Елисеевичу Шундику исполняется пятьдесят лет, вдвойне хочется поздравить его с созданием значительного произведения и пожелать ему новых, ярких книг о Стране Синеокой.

Олег МИХАЙЛОВ



Известный английский писатель Джеймс Олдридж и его супруга Дина Олдридж недавно посетили редакцию нашего журнала. Джеймс Олдридж рассказал о своих творческих планах, о тех произведениях, которые в недалеком будущем появятся на страницах «Огонька».




## КРОССВОРД

**По горизонтали:** 7. Спортивная игра. 8. Птица отряда воробьиных. 9. Немецкий шахматист. 10. Метод научного исследования. 11. Приток Иртыша. 14. Художественный стиль средневековья. 16. Пролив между Европой и Азией. 17. Стихотворение В. Маяковского. 22. Плодовое дерево. 23. Порт в Финском заливе. 24. Сборник географических карт. 25. Музыкальное произведение. 27. Огородное растение. 28. Тригонометрическая функция. 29. Сходство.

**По вертикали:** 1. Аппарат для размножения рукописей, чертежей. 2. Вещество, применяемое в лабораторных исследованиях. 3. Французский композитор. 4. Самая яркая звезда северного полушария неба. 5. Город в Московской области. 6. Народный писатель Азербайджана. 12. Документ, дающий право пользоваться на определенный срок местом в театре, на стадионе. 13. Действующее лицо оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 15. Автономная советская республика. 16. Живописец, народный художник СССР. 18. Роман И. А. Гончарова. 19. Советский конструктор автоматического оружия. 20. Место для возницы в санях. 21. Персонаж комедии масок. 26. Скотовод в Монголии. 27. Стекловидный камень разных цветов.

**ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 32**

**По горизонтали:** 7. «Дачники». 8. Планшет. 9. Годавари. 10. Симфония. 13. Алгебра. 17. Крикет. 18. Витоша. 20. Беллетристика. 23. Клевер. 24. Цитата. 25. Балобан. 27. Нептуний. 29. Гарнизон. 31. Шекспир. 32. «Сильвия».

**По вертикали:** 1. Ванта. 2. Манго. 3. Лавочкин. 4. Оксана. 5. Пломба. 6. Медиатор. 11. Генератор. 12. Лебедев. 14. Линейка. 15. Рессора. 16. Бисквит. 17. Киоск. 19. Акула. 21. Секретер. 22. Карболит. 25. Бензин. 26. Нарвик. 28. Тиски. 30. Илька.

**На первой странице обложки:** Бывшие курсанты Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков лейтенанты Петр Гладченко и Василий Лесников теперь сами учат будущих летчиков.

Фото Г. Макарова.

**На последней странице обложки** фото И. Тункеля (см. в номере «Дар Валдая»).

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Н. Б. ПАСТУХОВ, Н. М. СЕРГОВАНЦЕВ, И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, ГСП, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — 253-38-61; Отделы: Репортажа и новостей — 253-37-61; Международный — 253-38-63; Искусств — 250-46-98; Литературы — 250-56-88; Очерка — 250-15-33; Критики и библиографии — 253-38-26; Науки и техники — 253-37-52; Юмора — 253-39-05; Спорта — 253-32-67; Фото — 253-39-04; Оформления—253-38-36; Писем—253-36-28; Литературных приложений — 253-38-52, 253-32-45.

Сдано в набор 28/VII-70 г. А 00433. Подп. к печ. 11/VIII-70 г. Формат бумаги 70 × 108¹/₈. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Изд. № 1785. Тираж 2 100 000 экз. Заказ № 2108.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

# ПИОНЕРИЯ ОТДЫХАЕТ

В. МОРОЗОВА

Фото А. НАГРАЛЬЯНА.

Звучит пионерский горн. Спросонья никак не могу понять, откуда в моей московской квартире появился этот необычный сигнал. Но вот к давно забытым звукам пионерского детства присоединяется ребячье разноголосье. Я окончательно просыпаюсь и вспоминаю, что еще со вчерашнего вечера стала жительницей пионерского лагеря «Елочки». Расположен он неподалеку от Москвы, под Солнечногорском, и принадлежит Ленинградскому РЖУ. А славится он, как нам сообщил в первой предварительной беседе по телефону начальник лагеря М. С. Егоршев, своим редкостно чистым свежим воздухом, великолепными природными условиями.

— Такого вы не найдете нигде,— уверенно сказал Михаил Степанович.— Ну, а дети у нас, наверное, как все: веселые, жизнерадостные и немножко озорные.

Вот так мы и отправились с нашим фотокорреспондентом в поход за воздухом, солнцем и улыбками.

Слова Егоршева не только оправдались. То, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. Девственно прекрасные леса, полянки, усеянные ромашками, изумительно чистое Истринское водохранилище, а главное — что сейчас редко в Подмосковье — это почти полное безлюдье, тишина, отсутствие беспокойных дачников и шумных туристов.

Ну, а воздух в «Елочках» оказался действительно каким-то необыкновенным. Лагерь хорошо оборудован, но здесь нет ни традиционных клумб, обложенных кирпичом, ни газонов с табличками «ходить запрещено», ни даже садовых цветов, которые рвать тоже не рекомендуется. Зато полевые цветы можно собирать охапками. Недаром же девочки из всех отрядов не раз проявляли свое умение в конкурсе на самый красивый букет.

Уютные летние домики утопают в зелени, почти не нарушая естественной красоты хвойного леса. Поэтому дети чувствуют себя здесь свободно, легко, вволю наслаждаясь тем, чего они не видят и не имеют в огромном заасфальтированном городе из стекла, бетона и камня. А уж какую несравненную радость доставляют ребятам часы купания!

Истра здесь неширокая, с небольшими заводями, заросшими белоснежными звездами лилий, бархатными стрелками камышей, желтыми глазками кувшинок. Тем не менее она достаточно глубока, поэтому для вожатых купание — дело далеко не простое.

— Посудите сами,— говорит педагог 5-го отряда Надя Пашинцева.— У меня сорок пять детей. В воду пускаем, конечно, не всех сразу. По десяткам. Да и не одна купаю их: здесь и пионервожатые и два физорга, тезки Володя Суярков и Володя Воронцов, наши водяные, как в шутку называют их ребята.

Вообще шутливые прозвища здесь в ходу: Мамочка, Теща, Прокурор, Киска, Моргунов, Вицин и тому подобные. Причем ребята подбирают их настолько метко, что порой они кочуют за ребенком из смены в смену и прилипают так прочно, что и вожатые путаются, забывая настоящую фамилию мальчишки. Рыбака называют Рыбаковым, хотя у него совсем другая фамилия. А вот Шиллер и Ломоносов в лагере натуральные, то есть, конечно, просто законные однофамильцы гениального русского ученого и великого немецкого поэта.

Выдумкам и забавам детей конца-края нет. Только успевай следить за всеми. То бой подушками во время дневного сна устроят, то в соседний лагерь без разрешения уйдут — попеть песни под гитару, то набедокурят в столовой. Все эти проделки, конечно, не остаются безнаказанными. Провинившиеся держат ответ перед советом дружины — высшим органом власти в лагере.

Выборы его происходят в начале смены. Тогда же собираются комсомольцы из старших отрядов и выдвигают кандидатуру на пост лагерного секретаря комсомола. На совет дружины приглашается старшая пионервожатая Александра Романенкова, приходят и пионерские активисты. На этих заседаниях решаются все лагерные дела, распределяются обязанности между отрядами, учреждается шефство старших над малышами, обсуждаются все лагерные мероприятия, выбирается редколлегия стенной газеты. А работы у пионеров много: еженедельные соревнования на лучший отряд, спортивные состязания, кружковая работа, организация помощи соседнему совхозу «Лесное озеро». Приходится думать и о таких мелочах, как заплетание косичек девочкам из младших отрядов, стирка белья, уборка территории.

Интересно живут и самые маленькие обитатели лагеря «Елочки». Вот собрались они в кружок около своей вожатой Ани Эйгель и как завороженные слушают ее рассказ. Сегодня поведала она им о жизни зверей далеких пустынь и саванн. Аня — студентка четвертого курса педагогического института и беседы свои проводит очень грамотно и увлеченно. Результат ее работы, как говорится, налицо: на следующий же день на занятиях художественного кружка все дети, слушавшие ее рассказ, лепили из пластилина только слонов, жирафов, зебр, тигров, львов. Сейчас все эти экзотические звери красуются на стенде 8-го отряда, рядом с рисунками, получившими призы на отрядном конкурсе.

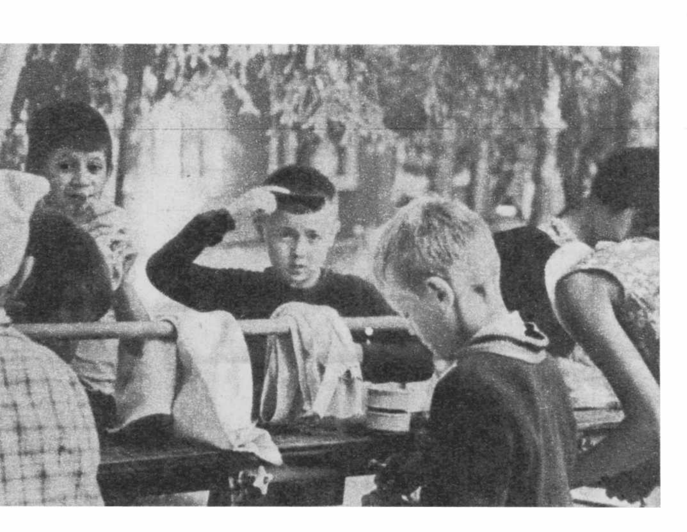
Любят дети кружок, который ведет врач З. Д. Елисеева. Зинаида Дмитриевна обучает ребят простейшим навыкам по оказанию первой медицинской помощи.

В лагере могут проявить свои таланты и художественно одаренные дети. Под руководством Ирины Сергеевны Ивановой они занимаются росписью по стеклу, а мальчишки особенно любят занятия по выжиганию и выпиливанию.

Ленинградский райком комсомола отметил работу лагеря почетной грамотой, а от управления бытового и коммунального хозяйства района ребята получили ценный подарок — телевизор «Зоркий-1».



Лагерное утро начинается с пионерского горна.



Ребята относятся к утреннему туалету серьезно.



— Ну что, неплохой у нас улов?— хитро улыбаются подружки Надя Мачеча и Ира Ратникова. Эту рыбу им подарили мальчишки.

**Хохотушке Марине Осиповой всегда весело.**





**Ни одно состязание не обходится без азартных болельщиков.**

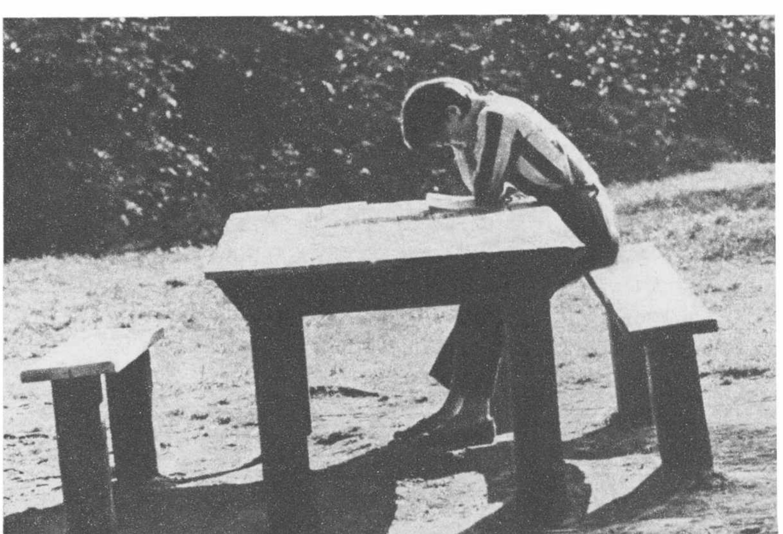
**Лихо, с присвистом запевают свою строевую песню «Яблочко» ребята 5-го отряда.**



**«Куча мала».**



**Уединение.**



Цена номера 30 коп.
Индекс 70663.





